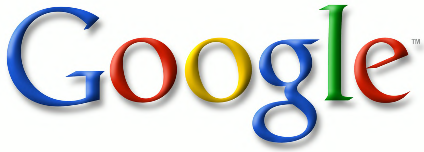
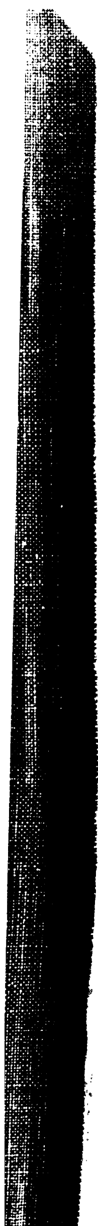



STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES



НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФІЯ

ГРАФА

Л. Н. ТОЛСТАГО.

Князя Д. Н. Цертелева.

ВТОРОЕ ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНІЕ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.
1898



2686

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТРАН.

I. Субъективность графа Л. Н. Толстого какъ мыслителя.—Его взглядъ на нравственную философію . 1
II. Взглядъ графа Толстого на положительныя науки и его отношеніе къ позитивизму и дарвинизму. . 11
III. Законъ Мультуса и законъ раздѣленія труда . . 19
IV. Опредѣленіе и критика понятія собственности. . 35
V. Богатство и бѣдность.—Благотворительность частная и общественная.—Попытка графа Толстого во время переписи; причины ея неудачи 45
VI. Физическій трудъ какъ нравственная обязанность и какъ необходимое условіе счастія.— Смѣшеніе понятій средства и цѣли 67
VII. Графъ Л. Н. Толстой и Ж.-Ж. Руссо; тождество ихъ основныхъ положеній.—Утилитарное отношеніе къ наукамъ и искусствамъ; цивилизація какъ источникъ неравенства.—Отрицательное отношеніе къ собственности.—Противорѣчіе между теоріей графа Толстого и его творчествомъ 94
VIII. О жизни 107
IX. О непротивленіи злу 158

I.

Субъективность графа Толстого какъ мыслителя.—Его взглядъ на нравственную философію.

Въ исторіи человѣческой мысли мы встрѣчаемся съ двумя родами талантовъ; одни въ своихъ произведеніяхъ, совершенно отрекшись отъ личныхъ стремленій, симпатій и антипатій, вполнѣ погружаются въ отвлеченное мышленіе или въ созерцаніе воспроизводимыхъ ими образовъ,—въ твореніяхъ другихъ отражается не только ихъ умъ, наблюдательность и творческая фантазія, но и вся ихъ нравственная личность.

Прочитавъ *Метафизическія размышленія* Декарта, *Этику* Спинозы или *Критику чистаго разума* Канта и не имѣя никакихъ біографическихъ свѣдѣній объ авторахъ, трудно, если не вполнѣ невозможно, составить себѣ представленіе о нихъ; то же самое можно сказать о большей части произведеній Шекспира, Гёте или Пушкина; но стоитъ

назвать Руссо, Байрона или Лермонтова, и рядомъ съ отвлеченно-философскимъ и чисто поэтическимъ значеніемъ, представляемымъ этими именами, сразу вырисовывается личность автора, хотя бы мы не имѣли никакого понятія о его біографіи. Въ этомъ состоитъ различіе мыслителей и художниковъ субъективныхъ отъ объективныхъ, различіе, которое, разумѣется, не можетъ быть точно опредѣлено и доказано, но которое сразу чувствуется и обусловливаетъ совершенно различное впечатлѣніе и настроеніе читателя.

Къ какой же изъ этихъ двухъ категорій должны мы отнести талантъ графа Л. Н. Толстого?

Какъ *художникъ*, онъ несомнѣнно принадлежитъ къ числу самыхъ *объективныхъ* писателей; тонкій и глубокій психологическій анализъ, позволяющій ему проникать въ душу самыхъ разнородныхъ изображаемыхъ имъ типовъ, позволяетъ намъ видѣть ихъ предъ собою живыми, и личность автора ни на волосъ не измѣняетъ ихъ очертаній и не придаетъ имъ ни малѣйшаго посторонняго оттѣнка.

Какъ писатель-*моралистъ*, графъ Толстой, наоборотъ, принадлежитъ къ числу самыхъ *субъективныхъ* мыслителей, и въ этомъ его сила и его слабость.

Истина одна, но способы выраженія и доказательства ея могутъ быть весьма разнообразны. Тамъ гдѣ нужно передать только отвлеченное зна-

ніе, цѣль достигается тѣмъ лучше, чѣмъ меньше постороннихъ примѣсей въ этой передачѣ и, слѣдовательно, чѣмъ полнѣе объективность; то же самое и еще въ большей мѣрѣ относится къ первоначальному изысканію истины. Въ такомъ изысканіи малѣйшая примѣсь личной воли нерѣдко предрѣшаетъ вопросъ и дѣлаетъ напрасными всѣ дальнѣйшія усилія изслѣдователя, показывая ему въ природѣ и въ мысляхъ не то, что̀ дѣйствительно есть, а то, что̀ онъ хочетъ въ нихъ видѣть.

Совершенно другое дѣло передача уже найденныхъ истинъ, особенно истинъ нравственнаго порядка.

Здѣсь важна не столько точность доказательства, сколько его убѣдительность, и самая неточная аргументація, если она производитъ впечатлѣніе на слушателей, достигаетъ своей цѣли лучше, чѣмъ неопровержимое научное изслѣдованіе, котораго слушатели не могутъ понять или не имѣютъ терпѣнія дослушать. Но въ подобныхъ случаяхъ главное условіе убѣдительности—это собственное убѣжденіе, горячность и искренность, неизбѣжно связанныя съ нѣкоторою субъективностью. Проповѣднику приходится имѣть дѣло не столько съ разумомъ, сколько съ волей его слушателей, а потому и въ немъ самомъ первое мѣсто занимаетъ чувство, а не отвлеченное мышленіе.

Та сила, та искренность и та художественная

правда, съ которою высказываются графомъ Л. Н. Толстымъ простѣйшія нравственныя истины, нерѣдко забываемыя подъ вліяніемъ засасывающаго теченія жизни, вотъ причина глубокаго впечатлѣнія, которое вызвали во многихъ его послѣднія произведенія.

Но какъ ни благотворно для общества въ этомъ отношеніи ученіе графа Толстого, оно не свободно отъ посторонней примѣси, освобожденіе отъ которой могло бы только усилить его значеніе.

Одно дѣло нравственный законъ, составляющій идеалъ человѣческихъ дѣйствій, другое — право и законъ положительный, обусловливающій возможность дѣйствительнаго существованія громаднаго большинства людей. Конечно, достиженіе нравственнаго идеала было бы осуществленіемъ задачи человѣчества, но даже того, кто вѣритъ въ возможность достиженія этого идеала на землѣ, такая вѣра не должна заставлять проходить молчаніемъ или относиться отрицательно къ тѣмъ звеньямъ, которыя связываютъ настоящую несовершенную дѣйствительность съ желаннымъ идеаломъ.

Положительный законъ есть только болѣе или менѣе точное и удачное выраженіе закона нравственности на низшей его ступени, то-есть на ступени права. Законъ этотъ предъявляетъ къ человѣку только требованіе отрицательное—никому не вредитъ. Если этимъ требованіемъ далеко не исчер-

пывается высшая заповѣдь любви, то оно во всякомъ случаѣ ею предполагается. Если же положительнымъ законодательствомъ не достигается цѣль его, то можно критиковать только недостаточность избираемыхъ имъ средствъ, а не самую цѣль.

Между тѣмъ въ нравственной теоріи графа Толстого господствуетъ полное смѣшеніе области права и высшей нравственности, основанной на любви. Возьмемъ примѣръ: Обязанность отдать человѣку рожь, которую взялъ у него взаймы для посѣва и обязанность дать ему эту рожь, если онъ нуждается въ ней, вещи весьма различныя, и каждый чувствуетъ эту разницу. Обязанность богатыхъ раздать имѣніе свое нищимъ и обязанность платить извѣстную часть своихъ доходовъ на общественныя нужды тоже весьма различны.

Справедливо, что право поглощается заповѣдью любви, но до тѣхъ поръ пока любовь не царитъ безраздѣльно, право по крайней мѣрѣ ограждаетъ человѣка отъ злобы его ближняго. Если же между закономъ любви и закономъ права является противорѣчіе, оно можетъ быть только случайное, кажущееся.

Допустимъ, что кто-нибудь, пользуясь своимъ правомъ, совершаетъ жестокость и такимъ образомъ нарушаетъ законъ любви, ясно, что истинная причина жестокости лежитъ здѣсь не въ правѣ, а въ злой волѣ. Могутъ сказать на это, что еслибы

не было этого права, то не могло бы быть и этой жестокости; но при этомъ забываютъ, что еслибы не было никакого права, оставалась бы все-таки *сила*, которая при злой волѣ, не зная уже никакихъ правовыхъ стѣсненій, надѣлала бы несравненно болѣе зла, чѣмъ тогда, когда она ограничена правовыми нормами, злоупотреблять которыми можно лишь въ исключительныхъ случаяхъ.

Изъ несомнѣннаго фактическаго существованія зла въ природѣ и въ обществѣ вытекаетъ необходимость огражденія отъ этого зла, необходимость борьбы съ нимъ: это главная задача положительнаго законодательства, главная обязанность государственныхъ учрежденій и должностныхъ лицъ; такимъ образомъ охрана права составляетъ первую цѣль государственной дѣятельности.

Если высшее требованіе нравственности для частныхъ лицъ есть любовь къ ближнему, высшее требованіе государственной нравственности есть справедливость. Любовь имѣетъ множество степеней, и нѣтъ высшей любви, какъ та, которая выражается въ самопожертвованіи. Справедливость, наоборотъ, степеней не имѣетъ, и нѣтъ средины между справедливымъ и несправедливымъ. Въ дѣлахъ общественныхъ замѣнить справедливость любовью немыслимо, потому что справедливость состоитъ въ безпристрастномъ и точномъ разграниченіи правъ отдѣльныхъ лицъ, а любовь, проявляясь въ пользу

одного, неизбѣжно оказалась бы во вредъ другому.

Въ основаніи всякаго права лежитъ понятіе о человѣческой личности, какъ о свободномъ индивидуумѣ, понятіе настолько опредѣленное, что изъ него могла выработаться система римскаго права и на него болѣе или менѣе сознательно опираются всѣ юридическія науки.

Совершенно другое дѣло нравственный законъ любви, который не поддается точному выраженію, потому что любовь есть чувство, а не понятіе. Поэтому, строго говоря, *предписывать* любовь невозможно, такъ какъ отъ людей зависятъ только ихъ дѣйствія, а не ихъ чувства. Если же подъ предписаніемъ любви разумѣть предписаніе не чувствовать, а только *дѣйствовать* такъ, какъ мы дѣйствовали бы *еслибы* любили, то является вопросъ, какъ узнать это тамъ гдѣ дѣйствительной любви нѣтъ? Въ самомъ дѣлѣ, почти всѣ моралисты съ глубочайшей древности и до нашего времени сходятся въ томъ, что основаніе нравственности есть любовь. Но какъ сообщить, какъ зажечь искру любви тамъ, гдѣ нѣтъ ея?

„Меня всегда удивляютъ, говоритъ графъ Толстой, часто повторяемыя слова: да это такъ по теоріи, но на практикѣ-то какъ? Точно какъ будто теорія это какія-то хорошія слова, нужныя для разговора, но не для того, чтобы вся практика,

то-есть вся дѣятельность неизбѣжно основывалась на ней. Должно-быть было на свѣтѣ ужасно много глупыхъ теорій, если вошло въ употребленіе такое удивительное разсужденіе. Теорія вѣдь это то, что̀ человѣкъ думаетъ о предметѣ, а практика то, что̀ онъ дѣлаетъ. Какъ же можетъ быть, чтобы человѣкъ думалъ, что надо дѣлать такъ, а дѣлалъ бы навыворотъ?“ „Я понялъ, говоритъ гр. Толстой далѣе, въ сущности только то, что̀ я зналъ давнымъ-давно, ту истину, которая передавалась людямъ съ самыхъ древнихъ временъ и Буддой, и Исаіей, и Лаотзи, и Сократомъ, и особенно ясно и несомнѣнно передана намъ Іисусомъ Христомъ и предшественникомъ его Іоанномъ Крестителемъ. Іоаннъ Креститель на вопросъ людей: что̀ намъ дѣлать? отвѣчалъ просто, коротко и ясно: у кого двѣ одежды, тотъ дай тому, у кого нѣтъ и у кого есть пища, дѣлай тоже (Луки III, 10, 11). То же и еще съ большею ясностью говорилъ Христосъ. Онъ говорилъ: блаженни нищіи и горе богатымъ. Онъ говорилъ, что нельзя служитъ Богу и мамонѣ. Онъ запретилъ ученикамъ брать не только деньги, но и двѣ одежды. Онъ сказалъ богатому юношѣ, что онъ не можетъ войти въ царство Божіе, потому что онъ богатъ, и что легче войти верблюду въ ушко иглы, чѣмъ богатому въ царство Божіе“.

Насколько увлекается графъ Толстой своею мыслью, видно изъ того, что онъ придаетъ словамъ

Евангелія совершенно иной смыслъ, нежели тотъ, который они имѣютъ для всякаго читающаго ихъ безъ предубѣжденія. На вопросъ богатаго юноши: „Учитель благій! что̀ сдѣлать мнѣ добраго, чтобы имѣть жизнь вѣчную?“ Христосъ отвѣчаетъ: „Если хочешь войти въ жизнь вѣчную, соблюди заповѣди“ (Матѳея XIX 16, 17). И только на вторичный вопросъ: „Все это сохранялъ я отъ юности моей, чего еще недостаетъ мнѣ?“ Іисусъ сказалъ ему: „*если хочешь быть совершеннымъ*, поди, продай имѣніе твое и раздай нищимъ; и будешь имѣть сокровище на небесахъ; и приходи и слѣдуй за мною“.

Правда, далѣе Іисусъ говоритъ ученикамъ своимъ: „истинно говорю вамъ, что *трудно* богатому войти въ царство небесное“, и употребляетъ сравненіе, которое заставляетъ учениковъ его изумиться и сказать: „такъ кто же можетъ спастись?“ но на вопросъ этотъ, вмѣсто того, чтобъ отвѣтить „неимущіе“, какъ это было бы неизбѣжно, еслибы главнымъ препятствіемъ ко спасенію было богатство, Христосъ говоритъ: „человѣкамъ это невозможно, Богу же все возможно“ (Матѳ. XIX, 20).

Но допустимъ даже, что смыслъ евангельскаго ученія дѣйствительно таковъ, какимъ его представляетъ графъ Толстой; въ требованіи раздать имущество нищимъ есть двѣ стороны, и необходимо уяснить себѣ что̀ стоитъ на первомъ планѣ—благо

ли дающаго или благо того, которому даютъ. Въ послѣднемъ случаѣ раздача имущества является простою благотворительностью, а въ первомъ, наоборотъ, имѣется въ виду отреченіе отъ благъ жизни—аскетизмъ; одна изъ этихъ точекъ зрѣнія не исключается другою, но та или другая неизбѣжно, выдвигаясь впередъ, подчиняетъ себѣ другую. Въ данномъ случаѣ на первомъ планѣ стоитъ несомнѣнно мораль аскетическая.

Съ точки зрѣнія общественной матеріальной благотворительности несомнѣнно, что человѣкъ, расходующій *въ теченіе всей своей жизни* доходы свои на добрыя дѣла, можетъ сдѣлать больше, чѣмъ раздавъ *одинъ разъ* все свое имущество, такъ чтобы самому нуждаться въ благотворительности. Совсѣмъ иное дѣло съ точки зрѣнія аскетической; но мораль аскетизма можетъ покоиться только на религіозныхъ, *мистическихъ* основахъ, совершенно чуждыхъ общему міровоззрѣнію графа Толстого: для него и въ самой религіи на первомъ планѣ стоитъ не догматическая, а преимущественно практически нравственная ея сторона.

II.

Взглядъ графа Л. Н. Толстого на положительныя науки и его отношеніе къ позитивизму и дарвинизму.

„Мы всѣ привыкли думать, говоритъ графъ Толстой, что нравственное ученье есть самая пошлая и скучная вещь, въ которой не можетъ быть ничего новаго и интереснаго, а между тѣмъ вся жизнь человѣческая со всѣми столь сложными и разнообразными кажущимися независимыми отъ нравственности дѣятельностями,—и государственная, и научная, и художественная, и торговая,—не имѣетъ другой цѣли, какъ большее уясненіе, утвержденіе, упрощеніе и общедоступность нравственной истины... Только *кажется*, что человѣчество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами: одно дѣло только для него важно и одно только дѣло оно дѣлаетъ—оно уясняетъ себѣ тѣ нравственные законы, которыми оно живетъ“.

Этимъ значеніемъ нравственныхъ законовъ въ

человѣческой жизни опредѣляется, по мнѣнію графа Толстого, также истинное назначеніе науки, большею частію совершенно позабытое въ наше время. „Человѣчество жило, жило и никогда не жило безъ науки о томъ, въ чемъ назначеніе и благо людей; правда, что наука о благѣ людей для поверхностнаго наблюденія кажется различною у Буддистовъ, Браминовъ, Евреевъ, Христіанъ, Конфуціанцевъ, Тусистовъ, но все-таки гдѣ мы знаемъ людей вышедшихъ изъ дикаго состоянія, мы находимъ эту науку: и вдругъ оказывается, что люди нашего времени рѣшили, что эта-то самая наука, до сихъ поръ бывшая руководительницей всѣхъ человѣческихъ знаній, она-то и мѣшаетъ всему. Съ тѣхъ поръ какъ существуетъ человѣчество, всегда у всѣхъ народовъ являлись учители, составлявшіе науку въ этомъ тѣсномъ смыслѣ: науку о томъ, что̀ нужнѣе всего знать человѣку. Наука эта всегда имѣла своимъ предметомъ знаніе того, въ чемъ назначеніе и потому истинное благо каждаго человѣка и всѣхъ людей“.

Наука эта, можно бы прибавить, всегда называлась нравственною философіей, и напрасно графъ Толстой избѣгаетъ этого названія, которое сразу устранило бы возможность многихъ недоразумѣній и избавило бы его отъ необходимости давать произвольное и неточное опредѣленіе наукѣ въ собственномъ смыслѣ.

„Въ чемъ бы ни полагали люди свое назначеніе и благо, продолжаетъ графъ Толстой,—наука будетъ ученіемъ объ этомъ назначеніи и благѣ, а искусство выраженіемъ этого ученія“. Такого рода опредѣленіе само себя опровергаетъ; математику пришлось бы тогда признать не наукой, потому что она не говоритъ о назначеніи и благѣ людей, а ученіе любого моралиста-философа—наукой, потому что оно имѣетъ въ виду именно эти предметы. Смѣшеніе науки съ философіей одинаково нежелательно и невыгодно для обѣихъ, такъ какъ и цѣль и методъ ихъ совершенно различны, хотя онѣ и должны находиться во взаимодѣйствіи и освѣщать другъ друга. Невозможно было бы ожидать серьезнаго развитія положительныхъ знаній, еслибы пріобрѣтенію ихъ постоянно предшествовалъ вопросъ „для чего они нужны?“. Знаніе можетъ явиться силой только тогда, когда оно вполнѣ усвоено; думать же о приложимости знанія, прежде чѣмъ оно вполнѣ усвоено, противно логическому ходу науки.

Между тѣмъ, именно такое требованіе приложимости или пользы предъявляетъ графъ Толстой ко всѣмъ положительнымъ наукамъ.

„Прежде чѣмъ человѣкъ познаетъ что̀ бы то ни было“, говоритъ онъ, „онъ долженъ рѣшить, что этотъ предметъ познанія важенъ для него, и важнѣе и нужнѣе, чѣмъ тѣ другіе безчисленные предметы познанія, которыми онъ окруженъ“.

Но требованіе это заключаетъ уже въ себѣ внутреннее противорѣчіе, такъ какъ почему же можетъ знать человѣкъ, что извѣстный предметъ для него важенъ, прежде чѣмъ познаетъ его?

„Я знаю, говоритъ графъ Толстой, что, по своему опредѣленію, наука должна быть безполезна, то-есть наука для науки, но вѣдь это очевидная отговорка. Дѣло науки—служить людямъ“.

Едва ли кому-нибудь въ голову серьезно приходила отговорка, приводимая графомъ Толстымъ; никто не утверждаетъ, что наука *должна* быть безполезною, но почти всѣ согласны въ томъ, что цѣль науки не польза, а истина; что же касается пользы, извлекаемой или неизвлекаемой изъ научныхъ истинъ, то это уже дѣло техники, прикладныхъ знаній, а не науки, и потому упреки въ безполезности или во вредѣ нисколько науки не касаются.

Чѣмъ же объясняется отрицательное отношеніе графа Толстого къ положительнымъ наукамъ? Едва ли мы ошибемся сказавъ, что въ основаніи его лежитъ отвращеніе къ тому мнимо научному направленію, которое господствовало у насъ въ теченіе послѣднихъ трехъ или четырехъ десятилѣтій.

„Я не только не отрицаю науку и искусство, но я только во имя того, что̀ есть истинная наука и истинное искусство и говорю то, что я говорю; замѣчаетъ онъ, только для того, чтобы была возможность человѣчеству выйти изъ того дикаго со-

стоянія, въ которое оно быстро впадаетъ благодаря ложному ученію нашего времени, только для этого я и говорю то, что говорю".

Л. Н. Толстой энергически и вполнѣ справедливо возстаетъ противъ стремленія провести подъ флагомъ науки теоріи ничего общаго съ нею неимѣющія.

„Намъ кажется, говоритъ онъ, что если мы приложимъ къ греческому слову слово *логія* и назовемъ это наукой, то будетъ наука".

Если, возставая противъ этихъ мнимыхъ наукъ, онъ нападаетъ иногда и на настоящія, причина этого главнымъ образомъ та, что для громаднаго большинства образованныхъ людей модныя научныя гипотезы совершенно заслонили собою научныя гипотезы. Къ сожалѣнію, и графъ Толстой не всегда достаточно различаетъ науку отъ научныхъ системъ и гипотезъ.

То онъ говоритъ о позитивизмѣ, какъ будто это дѣйствительно послѣднее слово положительныхъ наукъ, то сравниваетъ его господство съ господствомъ гегеліанства въ сороковыхъ годахъ. Сравненіе это совершенно вѣрно, такъ же, какъ и критика позитивизма, но это ничего не говоритъ противъ положительныхъ наукъ вообще, даже въ современномъ ихъ состояніи. Такъ же, какъ во время самаго полнаго господства гегеліанства для людей знакомыхъ съ исторіей философіи, кромѣ нѣсколькихъ ближайшихъ послѣдователей Гегеля, система

его не могла казаться окончательнымъ результатомъ философскаго мышленія, точно такъ же и система Конта, несмотря на свою громадную популярность среди нашей публики, имѣла еще меньше вліянія на философію и на положительныя науки. Гегель оставилъ по крайней мѣрѣ многочисленную школу, хотя и во время наибольшей его славы — лучи ея ослѣпили, кажется, болѣе всего русскихъ писателей, въ Германіи же они не могли вытѣснить вліянія Аристотеля, Лейбница, Канта и Шеллинга. Что касается Конта, то, кромѣ Литре, онъ не оставилъ за собою прямыхъ послѣдователей во Франціи и нашелъ скорѣе продолжателей въ Англіи. Но и Спенсеръ, Милль, Бэнъ, Луисъ настолько удаляются отъ родоначальника позитивной философіи, что ихъ скорѣе можно назвать просто эмпириками, чѣмъ позитивистами.

Нельзя, однако, отрицать, что большинству современныхъ ученыхъ дѣйствительно свойственно нѣкоторое поклоненіе фактамъ, и въ этомъ отношеніи графъ Толстой совершенно правъ, утверждая, что люди современной науки, по преимуществу позитивисты, очень любятъ съ торжественностью и увѣренностью говорить: „мы изслѣдуемъ только факты“, — воображая, что эти слова имѣютъ какой-нибудь смыслъ. „Изслѣдовать только факты никакъ нельзя, потому что фактовъ, подлежащихъ нашему изслѣдованію, *безчисленное* (въ точномъ значеніи этого слова) ко-

личество. Прежде чѣмъ изслѣдовать факты, надо имѣть теорію, на основаніи которой *изслѣдуются*, то-есть *избираются*, изъ безчисленнаго количества тѣ или другіе факты".

Итакъ, отрицательное отношеніе Л. Н. Толстого къ позитивизму и къ дарвинизму понятно: но Огюстъ Контъ и Дарвинъ не представляютъ собою не только всей философіи и всего естествознанія вообще, но даже философіи и естествознанія въ ихъ современномъ положеніи; та или другая система, та или другая научная теорія не составляютъ еще науки. Гипотеза волнообразнаго движенія эѳира имѣетъ несравненно болѣе прочныя основанія, чѣмъ гипотеза происхожденія видовъ; она потверждается тысячами опытовъ и математическихъ вычисленій, но остается все-таки гипотезой; допустимъ, что она когда-нибудь будетъ опровергнута, это нисколько не поколеблетъ значенія оптики, и законы преломленія свѣта останутся тѣ же самые.

Если въ наше время нерѣдко научныя гипотезы смѣшиваются съ научными истинами, то въ этомъ виноватъ никакъ не излишекъ, а скорѣе недостатокъ научнаго образованія.

Указывая на вредъ теорія Дарвина (такъ какъ она даетъ видимость опоры вредному, по его мнѣнію, нравственному ученію), графъ Толстой тѣмъ самымъ опровергаетъ свое утвержденіе о безполезности наукъ, неимѣющихъ въ виду непосредствен-

наго блага человѣчества: очевидно, что если ложная теорія такъ или иначе приноситъ вредъ, то теорія истинная, устраняющая, эту ложную теорію, должна принести пользу.

III.

Законъ Мальтуса и законъ раздѣленія труда.

Насколько вѣски тѣ возраженія, которыя дѣлаетъ графъ Толстой противъ произвольныхъ сравненій и обобщеній позитивной философіи и дарвинизма, настолько же мало убѣдительны нападки его на законъ Мальтуса и на законъ раздѣленія труда.

Если первый изъ этихъ законовъ, въ той формѣ, въ которой онъ выраженъ Мальтусомъ, и не можетъ считаться строго научной истиной, то поставленный имъ вопросъ слишкомъ серьезенъ, чтобъ отъ него можно было отдѣлаться нѣсколькими строками, въ которыхъ раздраженія много, но возраженія — ни одного.

„Весьма плохой англійскій публицистъ, сочиненія котораго забыты и признаны ничтожнѣйшими изъ ничтожныхъ, пишетъ трактатъ о народонаселеніи, въ которомъ онъ придумываетъ мнимый законъ

несоразмѣрнаго со средствами пропитанія увеличенія населенія. Мнимый законъ этотъ писатель обставляетъ математическими, ни на чемъ неоснованными формулами и выпускаетъ въ свѣтъ. По легкомысленности и бездарности этого сочиненія надо бы предполагать, что сочиненіе это не обратитъ ничьего вниманія и забудется, какъ всѣ послѣдующія сочиненія того же писателя; но выходитъ совсѣмъ другое: публицистъ, написавшій это сочиненіе, становится сразу научнымъ авторитетомъ и держится на этой высотѣ чуть не полстолѣтія".

Дѣйствительно ли такъ произвольна, нелѣпа и безосновательна теорія Мальтуса, какъ это утверждаетъ графъ Толстой? Нѣтъ надобности ни въ математическихъ выкладкахъ, ни въ сложныхъ политико-экономическихъ разсужденіяхъ, чтобъ убѣдиться, что въ основаніи теоріи Мальтуса лежитъ серьезная и несомнѣнная истина.

Чтò бы мы ни думали о вычисленіяхъ Мальтуса, несомнѣнно то, что поверхность земли ограничена, а способность произрожденія безгранична, и если процентъ рожденій не будетъ уравновѣшиваться процентомъ смертности, и увеличеніе населенія (per impossibile) будетъ продолжаться до безконечности, то долженъ наступить моментъ, когда земля не въ состояніи будетъ не только прокормить, но и помѣстить всѣхъ людей.

До тѣхъ поръ пока, вопросъ идетъ о всей землѣ

можно допустить, что онъ не имѣетъ практической важности. Пока населеніе земного шара достигнетъ предѣльной цифры, успѣетъ умереть еще не одно поколѣніе. Но если мы поставимъ вопросъ въ болѣе тѣсныя рамки и возьмемъ ту или другую густо населенную мѣстность, онъ получаетъ уже совершенно иное жизненное значеніе и вынуждаетъ считаться съ собою не только науку, но и правительства.

Вопросъ о голодающихъ рабочихъ не разрѣшается ироническимъ изложеніемъ теоріи Мальтуса и замѣчаніемъ: „зачѣмъ они, дураки, родятся, когда знаютъ что нечего имъ будетъ ѣсть“.

Дѣло идетъ не о дѣтяхъ, а о родителяхъ, и вопросъ о томъ имѣютъ ли право люди давать жизнь другимъ, если не въ состояніи нѣкоторое время обезпечить ее, вопросъ настолько серьезный и спорный, что различно рѣшается законодательствами различныхъ странъ. Законъ Мальтуса возмущаетъ Л. Н. Толстого, потому что онъ видитъ въ немъ предлогъ для оправданія роскоши: если бѣдственное положеніе рабочихъ возникаетъ изъ физической необходимости, то въ немъ не виновата роскошь богатыхъ классовъ. Но это негодованіе зависитъ, мнѣ кажется, отъ того, что тутъ смѣшиваются два вопроса: люди богатые несомнѣнно могутъ помочь бѣднымъ, и это ихъ нравственная обязанность, но отсюда никакъ не слѣдуетъ, что еслибы не было богатыхъ, не осталось бы и бѣдныхъ.

Законъ Мальтуса имѣетъ однако лишь косвенную и сравнительно отдаленную связь съ существующимъ порядкомъ вещей. Совсѣмъ другое дѣло раздѣленіе труда, на которомъ основанъ весь строй современной жизни.

Чѣмъ больше развивается общественная, научная и промышленная дѣятельность, тѣмъ сильнѣе и всестороннѣе становится это раздѣленіе.

Отрицать раздѣленіе труда не рѣшается и графъ Л. Н. Толстой. только онъ видитъ въ немъ не экономическій законъ, зависящій отъ условій предложенія и спроса, а нѣчто такое, что̀ должно быть основано на чисто нравственныхъ соображеніяхъ.

„Раздѣленіе труда въ человѣческомъ обществѣ всегда было и вѣроятно будетъ; но вопросъ для насъ не въ томъ, что оно есть и будетъ, а въ томъ, чѣмъ мы должны руководствоваться, чтобъ это раздѣленіе было правильно. Если же мы наблюденіе возьмемъ за мѣрило, то мы этимъ самымъ откажемся ото всякаго мѣрила; тогда мы всякое раздѣленіе труда, какое мы будемъ видѣть между людьми и какое намъ кажется правильнымъ, и будемъ считать правильнымъ, къ чему и ведетъ царствующая научная наука.

„Раздѣленіе труда есть законъ всего существующаго, и потому оно должно быть въ человѣческихъ обществахъ. Очень можетъ быть, что это такъ,

но остается все-таки вопросъ о томъ, что то раздѣленіе труда, которое я теперь вижу въ моемъ человѣческомъ обществѣ, есть ли оно то самое раздѣленіе труда, которое должно быть?

„И если люди считаютъ извѣстное раздѣленіе труда неразумнымъ и несправедливымъ, то никакая наука не можетъ доказать людямъ, что должно быть то что̀, они считаютъ неразумнымъ и несправедливымъ. Раздѣленіе труда есть условіе жизни организмовъ и человѣческихъ общесгвъ; но что̀ въ этихъ человѣческихъ обществахъ считать органическимъ раздѣленіемъ труда?“

Что̀ же разумѣетъ графъ Толстой подъ правильнымъ раздѣленіемъ труда?

„Живутъ люди, кормятся земледѣліемъ, какъ свойственно всѣмъ людямъ: одинъ человѣкъ устроилъ кузнечное горно и починилъ свой плугъ; приходитъ къ нему сосѣдъ и проситъ тоже починить и обѣщаетъ ему за это работу или деньги. Приходитъ третій, четвертый, и въ обществѣ этихъ людей происходитъ слѣдующее раздѣленіе труда—дѣлается кузнецъ. Другой человѣкъ хорошо выучилъ своихъ дѣтей, къ нему приводитъ дѣтей сосѣдъ и проситъ учить ихъ, и дѣлается учитель; но и кузнецъ и учитель сдѣлались и продолжаютъ быть такими только потому, что ихъ просили и остаются таковыми до тѣхъ поръ, пока ихъ просятъ быть кузнецомъ и учителемъ“.

Намъ кажется, что дѣло происходитъ какъ разъ въ обратномъ порядкѣ противъ того, который описывается здѣсь графомъ Толстымъ, и кузнецъ не потому становится кузнецомъ и учитель учителемъ, что кто-то ихъ проситъ объ этомъ, а наоборотъ, кузнеца просятъ ковать лошадей, а учителя учить дѣтей, потому что они умѣютъ это дѣлать.

Но гипотеза эта, можетъ быть, представляетъ собою только не совсѣмъ точное выраженіе несомнѣнно вѣрнаго положенія, что трудъ можетъ быть разсматриваетъ какъ товаръ, и цѣна его (а слѣдовательно и побудительныя причины къ занятію имъ) обусловливается предложеніемъ и спросомъ. Но въ такомъ случаѣ выводъ, который дѣлаетъ отсюда графъ Толстой, уже совсѣмъ не вытекаетъ изъ этой истины.

„Еслибы случилось, что заведется много кузнецовъ и учителей, или ихъ работа не нужна, они тотчасъ, какъ этого требуетъ здравый смыслъ и какъ это бываетъ всегда тамъ, гдѣ нѣтъ причинъ нарушенія правильности раздѣленія труда, они тотчасъ бросаютъ свое мастерство и опять берутся за земледѣліе. Люди поступающіе такъ руководствуются своимъ разумомъ, своею совѣстью, и потому мы люди одаренные разумомъ и совѣстью, всѣ утверждаемъ, что такое раздѣленіе труда правильно. Но еслибы случилось, что кузнецы имѣютъ возможность принудить другихъ людей работать на нихъ и продол-

жали бы дѣлать подковы, когда ихъ не нужно, а учителя учили бы когда некого учить, то всякому свѣжему человѣку, то-есть существу одаренному разумомъ и совѣстью, очевидно, что это не было бы раздѣленіемъ, а захватомъ чужого труда. А между тѣмъ такая именно дѣятельность и есть то, что̀ называется по научной наукѣ раздѣленіемъ труда".

Примѣръ здѣсь выбранъ настолько неудачно, что трудно провѣрить на немъ значеніе той мысли, которая лежитъ въ его основаніи.

Во-первыхъ, еслибы *некого* было учить, то учителя не могли бы продолжать учить; а еслибы кузнецы имѣли возможность *заставить* другихъ людей работать на себя даромъ, то едва ли бы они продолжали дѣлать подковы для собственнаго удовольствія; во-вторыхъ, вообще говоря, принудить кого бы то ни было *купить* что-нибудь (то-есть не только уплатить деньги, но и взять товаръ, за который онѣ уплачены) нѣтъ никакой возможности; заставить отдать деньги, не имѣя на нихъ никакого права, возможно, но это право называется грабежомъ, а не раздѣленіемъ труда, и никакая наука грабежа не рекомендовала.

„Странно было бы видѣть сапожника, говоритъ графъ Толстой, который считалъ бы, что люди обязаны его кормить за то, что онъ шьетъ, не переставая, сапоги, которые давно уже никому ненужны, но что̀ же сказать про тѣхъ людей, которые уже

ничего не шьютъ, ничего не только видимаго, но полезнаго для народа не производятъ, на товаръ которыхъ нѣтъ охотниковъ и которые такъ же сильно, на основаніи раздѣленія труда, требуютъ чтобъ ихъ поили и кормили сладко и одѣвали хорошо? Могутъ быть и есть колдуны, къ дѣятельности которыхъ заявляются требованія, а имъ носятъ за это мѣшки и полуштофы, но того, чтобы были такіе колдуны, колдовство которыхъ никому не нужно и которые бы смѣло требовали, чтобъ ихъ сладко кормили за то, что они будутъ колдовать, это трудно себѣ представить. А это самое и есть въ нашемъ мірѣ, и все это происходитъ на основаніи того ложнаго понятія раздѣленія труда, опредѣляемаго не разумомъ и совѣстью, а наблюденіемъ, которое съ такимъ единодушіемъ исповѣдуютъ люди науки".

Требовать каждый можетъ что̀ ему вздумается; но колдовать надо бы очень искусно, чтобы другіе сочли нужнымъ платить за ненужное имъ колдовство. Впрочемъ, дѣло становится гораздо яснѣе, когда оказывается, что рѣчь идетъ совсѣмъ не о колдунахъ, кузнецахъ или сапожникахъ, а о докторахъ, техникахъ и т. п. людяхъ.

„Царствующая наука съ обманною торжественностью заявляетъ, что разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ жизни возможно только изученіемъ фактовъ природы и въ особенности организмовъ. Легковѣрная

толпа молодежи, подавленная новостью этого не только не разрушеннаго, но еще не затронутаго критикой авторитета, бросается на изученіе этихъ фактовъ въ естественныхъ наукахъ, на тотъ единственный путь, который, по утвержденію царствующаго ученія, можетъ привести къ уясненію вопросовъ жизни. Но чѣмъ дальше подвигаются ученики въ этомъ изученіи, тѣмъ дальше и дальше становится отъ нихъ не только возможность, но даже самая мысль о разрѣшеніи вопросовъ жизни и тѣмъ больше и больше привыкаютъ они не столько наблюдать, сколько вѣрить на слово чужимъ наблюденіямъ, тѣмъ больше форма заслоняетъ для нихъ содержаніе; тѣмъ больше и больше теряютъ они сознаніе добра и зла и способность понимать тѣ выраженія и опредѣленія добра и зла, которыя выработаны всею предшествующею жизнью человѣчества, тѣмъ болѣе и болѣе усваиваютъ они себѣ спеціальный научный жаргонъ условныхъ выраженій, неимѣющихъ общечеловѣческаго значенія, тѣмъ дальше и дальше заходятъ они въ дебри ничѣмъ не освѣщенныхъ наблюденій, тѣмъ больше и больше лишаются они способности не только самостоятельно мыслить, но понимать даже чужую, свѣжую, находящуюся внѣ ихъ Талмуда человѣческую мысль; главное же, проводятъ лучшіе годы въ отвлеченіи отъ жизни, то-есть отъ труда, привыкаютъ считать свое положеніе оправданнымъ и дѣлаются и физи-

чески ни на что негодными паразитами, и умственно вывихиваютъ себѣ мозги и становятся скопцами мысли. И точно также, по мѣрѣ отупѣнія, пріобрѣтаютъ самоувѣренность, лишающую ихъ уже навсегда возможности возврата къ простой трудовой жизни, къ простому, ясному и общечеловѣческому мышленію".

Зло, указываемое графомъ Толстымъ, дѣйствительно существуетъ, особенно у насъ, но въ этомъ ни чуть не виновато раздѣленіе труда, а скорѣе недостатокъ его. Тотъ апломбъ, съ которымъ медикъ или естественникъ второго курса берется за рѣшеніе соціальныхъ вопросовъ, доказываетъ только то, что онъ не умѣетъ и не желаетъ спеціализоваться на избранной имъ отрасли знанія.

Есть, впрочемъ, и другая причина того зла, на которое указываетъ Л. Н. Толстой,—это стремленіе къ высшему образованію не ради знаній, а ради матеріальной обезпеченности, которая болѣе или менѣе пріобрѣтается посредствомъ него.

Эту сторону вопроса, повидимому, болѣе всего и имѣетъ въ виду графъ Толстой, нападая на неправильное раздѣленіе труда. Но тѣ же экономическіе законы, которые обусловливаютъ въ извѣстный моментъ усиленный спросъ на ту или другую умственную работу, и вызываютъ иногда чрезмѣрное ея предложеніе, со временемъ регулируютъ это предложеніе и устанавливаютъ нормальное отношеніе

между различными видами умственной дѣятельности. Въ извѣстный переходный періодъ времени возможенъ недостатокъ или избытокъ врачей, адвокатовъ или техниковъ, точно такъ же какъ и ткачей, каменщиковъ или огородниковъ, но въ концѣ-концовъ каждый выбираетъ то занятіе или то знаніе, къ которому чувствуетъ наиболѣе способности и которое можетъ лучше всего обезпечить его существованіе. Цѣна на умственный трудъ, какъ и на всякій другой, опредѣляется предложеніемъ и спросомъ, хотя Л. Н. Толстой и не хочетъ признать этой экономической истины, потому что онъ вообще умственный трудъ не хочетъ признать трудомъ въ собственномъ смыслѣ.

„Наука и искусство, говоритъ онъ, выговорили себѣ право праздности и пользованія чужими трудами и измѣнили своему призванію. И заблужденія ихъ произошли только потому что служители ихъ, выставивъ ложно понятый принципъ раздѣленія труда, признали за собою право пользоваться трудами другихъ и потеряли смыслъ своего призванія, сдѣлавъ себѣ цѣлью не пользу народа, а таинственную пользу науки и искусства и предались праздности и разврату, не столько чувственному сколько умственному.

„Говорятъ, наука и искусство многое дали человѣчеству.

„Наука и искусство много дали человѣчеству

не *потому* что люди науки и искусства подъ видомъ раздѣленія труда живутъ на шеѣ рабочаго народа, а *не смотря на это*. Римская республика была могущественна не потому что граждане ея имѣли возможность развратничать, а потому что въ числѣ ихъ были доблестные граждане. То же самое и съ наукой, и искусствомъ. Наука и искусство дали много человѣчеству, но не потому что служители ихъ имѣли изрѣдка прежде и теперь имѣютъ всегда возможность освободить себя отъ труда, а потому что были геніальные люди, которые, не пользуясь этими правами, двигали впередъ человѣчество.

„Сословіе ученыхъ и художниковъ, заявляющее на основаніи ложнаго раздѣленія труда требованіе на пользованіе трудами другихъ, не можетъ содѣйствовать успѣху истинной науки, потому что ложь не можетъ произвести истины.

„Наука и искусство прекрасныя вещи, но именно потому, что онѣ прекрасныя, ихъ и не надо портить обязательнымъ присоединеніемъ къ нимъ разврата, т.-е. освобожденія себя отъ обязанности человѣка служить трудомъ жизни своей и другихъ людей. Наука и искусство подвинули впередъ человѣчество. Да! но не тѣмъ, что люди науки и искусства подъ видомъ раздѣленія труда освободили себя отъ самой первой и несомнѣнной человѣческой обязанности *трудиться руками въ общей борьбѣ человѣчества съ природой*“.

Я нарочно подчеркиваю послѣднія слова, потому что они составляютъ краеугольный камень нравственной философіи графа Толстого и отличительную черту ея отъ другихъ сходныхъ съ нею системъ.

„Въ чемъ бы ни полагалъ человѣкъ своего призванія: въ томъ ли, чтобъ управлять людьми, въ томъ ли, чтобы защищать своихъ соотечественниковъ, совершать ли богослуженія, научать ли другихъ, придумывать ли средства для увеличенія пріятностей жизни, открывать ли законы міра, воплощать вѣчныя истины въ художественныхъ образахъ, обязанность разумнаго человѣка участвовать въ борьбѣ съ природой для поддержанія жизни и своей, и другихъ людей всегда будетъ самая первая и самая несомнѣнная. Обязанность эта будетъ первою уже потому, что людямъ нужнѣе всего ихъ жизнь, и потому для того, чтобы защищать и научать людей и дѣлать ихъ жизнь болѣе пріятною—падо сохранять самую жизнь, а между тѣмъ мое неучастіе въ борьбѣ, поглощеніе чужихъ трудовъ есть уничтоженіе чужихъ жизней. И потому безумно служить жизни людей, уничтожая жизнь людей, и нельзя говорить, что я служу людямъ, когда я своею жизнію очевидно врежу имъ“.

И такъ, истинная наука и истинное искусство не избавляютъ отъ обязанности трудиться руками въ борьбѣ съ природой. Но какъ же объяснить

тогда, что не только Аристотель, Декартъ, Кантъ, Рафаэль, Гёте или Пушкинъ, но и Сократъ и Шопенгауеръ, на которыхъ нерѣдко ссылается графъ Толстой, не исполнили этой обязанности? Или они не были *истинными* учеными и художниками, или обязанность трудиться *руками* не такъ несомнѣнна, какъ она кажется графу Толстому.

Допустимъ, что борьба съ природой дѣйствительно составляетъ первую и главную обязанность каждаго человѣка; что̀ же отсюда слѣдуетъ? Очевидно то, что тотъ, кто въ этой борьбѣ достигнетъ наибольшихъ результатовъ, лучше всѣхъ исполнитъ свою обязанность. Вопросъ стало-быть въ результатѣ, а не въ процессѣ борьбы. Кто же дѣлаетъ больше въ борьбѣ съ природой, инженеръ ли, который задумалъ планъ осушенія болота, или каждый изъ тысячи рабочихъ, исполняющихъ этотъ планъ?

Каждый матросъ на кораблѣ везущемъ изъ Индіи въ Европу транспортъ пшеницы въ извѣстной мѣрѣ содѣйствуетъ борьбѣ человѣка съ природой, но чья роль въ этой борьбѣ важнѣе, этого матроса или капитана корабля, на которомъ онъ находится, или Лессепса, который сдѣлалъ возможнымъ сокращеніе пути этого корабля болѣе чѣмъ на половину?

Графъ Толстой возмущается тѣмъ, что высшее образованіе даетъ возможность людямъ до тридцати лѣтъ жить ничего не дѣлая и послѣ тридцати

лѣтъ продолжать ту же жизнь, все обѣщаясь что-то сдѣлать. Но въ дѣйствительности не высшее образованіе, а нѣкоторая матеріальная обезпеченность освобождаютъ отъ необходимости физическаго труда. Въ какой мѣрѣ эта матеріальная обезпеченность связана съ высшимъ образованіемъ, зависитъ отъ условій времени и мѣста, то-есть дѣло сводится опять къ размѣрамъ предложенія и спроса на умственный трудъ. Нужны или не нужны спеціалисты, это вопросъ, о которомъ, по крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія Л. Н. Толстого, можно еще спорить, но несомнѣнно, что *если* они нужны, то ихъ привилегированное положеніе относительно физическаго труда совершенно необходимо, такъ какъ очевидно, что человѣкъ, который пахалъ утромъ, землю не въ состояніи будетъ сдѣлать вечеромъ глазной операціи или микроскопическаго изслѣдованія.

Если умственный трудъ вообще оплачивается лучше, нежели физическій, это вовсе не по причинѣ какой-то стачки или насилія со стороны ученыхъ, а потому, что предложеніе его сравнительно меньше, и потому, что для пріобрѣтенія возможности заработка посредствомъ него требуется уже нѣкоторое количество знаній и искусства, что̀ предполагаетъ предварительную затрату времени и капитала, такъ что въ заработной платѣ заключаются и проценты на этотъ ранѣе израсходованный капиталъ.

Но это объясненіе не удовлетворитъ, конечно,

послѣдователей графа Толстого: какое право, спросятъ они, имѣетъ человѣкъ въ теченіе полужизни расходовать капиталъ, который онъ не пріобрѣталъ, да и потомъ еще требовать процентовъ на него, когда онъ уже израсходованъ?

Это приводитъ насъ къ вопросу о собственности.

IV.

Опредѣленіе и критика понятія собственности у гр. Л. Н. Толстого.

Гр. Толстой является самымъ рѣшительнымъ противникомъ собственности, хотя трудно опредѣлить, чѣмъ бы онъ хотѣлъ замѣнить ее или въ чемъ видитъ возможность устранить ее изъ общественной жизни.

Чтò значитъ собственность?—спрашиваетъ онъ.

„Собственность значитъ то, чтò дано, принадлежитъ мнѣ одному исключительно, то съ чѣмъ я могу сдѣлать всегда все, чтò хочу, то, чего никто не можетъ отнять у меня, чтò остается моимъ до конца моей жизни, и то, чтò я именно долженъ употреблять, увеличивать, улучшать“.

Когда дашь такое опредѣленіе собственности, не удивительно потомъ, что ея не окажется въ цѣломъ мірѣ. Здѣсь все невѣрно; я не говорю уже съ точки зрѣнія юридической, которую можно отри-

цать, но и съ логической, которая одинаково обязательна для всѣхъ разумныхъ существъ.

„Собственность значитъ то чтò принадлежитъ мнѣ исключительно“. Это совершенно справедливо, но означаетъ только то что собственность есть собственность, мое есть мое, такъ какъ *исключительная принадлежность* и собственность *синонимы;* но то чтобъ я съ моею собственностью *всегда* могъ сдѣлать все чтò хочу — невѣрно, потому что собственность можетъ быть отдѣлена отъ фактическаго владѣнія; если лошадь вырвалась у меня и убѣжала, я не могу уже ѣхать на ней сколько бы ни хотѣлъ этого, несмотря на то, что она остается моею собственностью.

„Собственность есть то чтò никто не можетъ отнять у меня“—опять невѣрно, потому что нѣтъ такой собственности которая не могла бы быть отнята посредствомъ кражи, грабежа, самовольнаго захвата или иного правонарушенія (слѣдовательно въ опредѣленіи необходимо было бы по крайней мѣрѣ прибавить „безъ нарушенія права“).

„Собственность есть то чтò остается моимъ до конца моей жизни“. Это уже совсѣмъ непонятно. Неужели табакъ, напримѣръ, который я выкурилъ долженъ оставаться моимъ до конца моей жизни или не былъ моимъ пока я его не выкурилъ?

„Собственность есть то чтò я именно долженъ употреблять, увеличивать, улучшать“. Это опять со-

всѣмъ непонятно. Пусть, напримѣръ, я купилъ ружье—оно стало моею собственностью, но отсюда никакъ не слѣдуетъ чтобъ я *долженъ* былъ стрѣлять изъ него, а тѣмъ менѣе, увеличивать или улучшать его.

Пусть не примутъ этотъ разборъ опредѣленія графа Толстаго за придирку съ моей стороны. „Слова имѣютъ всегда ясное значеніе до тѣхъ поръ пока мы умышленно не дадимъ имъ ложный смыслъ", и вотъ для устраненія этой неясности и умышленнаго искаженія смысла связаннаго со словомъ *собственность* графъ Толстой и даетъ свое новое опредѣленіе; изъ этого опредѣленія оказывается, что не только отдѣльные предметы указанные мною не могутъ быть моею собственностью, но что собственности не существуетъ, такъ какъ единственная „собственность для каждаго человѣка онъ самъ".

И такое опредѣленіе по мнѣнію графа Толстаго должно быть справедливѣе и яснѣе того, которое дается и наукой и положительнымъ закономъ? Но пусть попробуетъ онъ объяснить крестьянину, у котораго украли лошадь что собственность для каждаго человѣка только онъ самъ или спросить у него какое предложеніе ему понятнѣе, лошадь—моя, или *я*—мой.

Въ исторіи нравственныхъ и политическихъ ученій не разъ были попытки доказать, что собственности *не должно* быть, но до гр. Толстаго

кажется никому еще въ голову не приходило отрицать ея фактическое существованіе. По теоріи же его оказывается, что все что̀ положительнымъ правомъ считается собственностью есть только воображаемая собственность. Могутъ возразить что споръ здѣсь лишь о словахъ и что то что̀ обыкновенно называется просто собственностью, гр. Толстой называетъ „воображаемою" собственностью—вопросъ терминологіи. Это пожалуй такъ, но тогда̀ необходимо предварительно условиться въ терминахъ и помнить что по этой терминологіи можно, напримѣръ, дѣйствительно владѣть воображаемою собственностью и знать что когда гр. Толстой утверждаетъ что деньги зло—это зло воображаемое.

„Деньги сами по себѣ зло", говоритъ гр. Толстой. „И потому тотъ кто даетъ деньги—тотъ даетъ зло. Заблужденіе это, что давать деньги значитъ дѣлать добро, произошло отъ того что большею частью когда человѣкъ дѣлаетъ добро, то онъ освобождается отъ зла и въ томъ числѣ отъ денегъ. И потому давать деньги есть только признакъ того что человѣкъ начинаетъ избавляться отъ зла".

Но если деньги зло, то казалось бы есть средство проще избавиться отъ этого зла и лучше было бы сжечь или зарыть ихъ чѣмъ передавать другому. Впрочемъ вопросъ о деньгахъ, разумѣется, не можетъ разсматриваться независимо отъ труда или собственности, знакомъ которыхъ онѣ являются.

Итакъ, оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ что̀ есть истинная и что̀ воображаемая собственность, мы будемъ говорить о томъ что̀ вообще обозначается этимъ словомъ, о такъ-называемой собственности.

Возвращаюсь къ вопросу о томъ: можетъ ли человѣкъ располагать капиталомъ котораго онъ не пріобрѣталъ? Нѣтъ, не можетъ, потому что это было бы распоряженіемъ чужою собственностью. Но въ сущности вопросъ не въ этомъ, а въ томъ, можетъ ли человѣкъ пріобрѣсти имущество иначе какъ посредствомъ труда? Несомнѣнно можетъ, потому что даже въ томъ случаѣ если трудъ есть единственный источникъ пріобрѣтенія права собственности, будучи разъ пріобрѣтено, оно предполагаетъ право обмѣна и даренія. Если я посредствомъ собственнаго труда пріобрѣлъ хлѣбъ, я могу не только съѣсть его, но и обмѣнять его на соху или подковы, или просто подарить его, и право послѣдняго пріобрѣтателя всегда будетъ основано на правѣ перваго, такъ что нельзя будетъ нарушить его не нарушая перваго. Отнять у сына наслѣдство, ради котораго трудился отецъ, значитъ похитить у отца плодъ его работы.

Приравнивать то вліяніе которое даютъ въ обществѣ деньги ко власти рабовладѣльцевъ нельзя безъ явной натяжки.

„Участіе въ рабствѣ со стороны рабовладѣльца состоитъ въ пользованіи чужимъ друдомъ, все равно зиждется ли рабство на моемъ правѣ на раба или

на моемъ владѣніи землей или деньгами“, говоритъ графъ Толстой. „И потому если человѣкъ точно не любитъ рабства и не хочетъ быть участникомъ въ немъ, то первое что онъ сдѣлаетъ будетъ то что онъ не будетъ пользоваться чужимъ трудомъ ни посредствомъ владѣнія землей, ни посредствомъ денегъ“.

Здѣсь мы встрѣчаемся опять съ неточнымъ опредѣленіемъ. Участіе въ рабствѣ состоитъ не въ пользованіи чужимъ трудомъ, а въ пользованіи чужимъ трудомъ *безвозмездно и противъ воли трудящагося*, иначе и крестьянинъ который переѣзжаетъ черезъ рѣку за три копѣйки оказался бы участникомъ въ рабовладѣльчествѣ, и ребенокъ котораго кормятъ родители—рабовладѣльцемъ своихъ родителей.

Не можетъ быть рабства тамъ гдѣ услуги обусловливаются обмѣномъ и обоюднымъ согласіемъ сторонъ. Даже если обмѣнъ этотъ невыгоденъ для одной изъ сторонъ, рѣчь можетъ идти только объ обманѣ или о притѣсненіи, и слово рабство можетъ быть употреблено только какъ гипербола.

Почти все что̀ говоритъ гр. Толстой о раздѣленіи труда, о собственности и о деньгахъ не выдерживаетъ критики, главнымъ образомъ потому что воззрѣніе его на эти вопросы содержитъ одно основное внутреннее противорѣчіе.

Признавъ борьбу съ природой цѣлью и обязанностью каждаго человѣка, нельзя уже потомъ безъ

непослѣдовательности отвергать пользу раздѣленія труда и значеніе капитала, которые одни даютъ возможность подчиненія природы человѣческой волѣ. Можно находить безнравственнымъ такое раздѣленіе труда, которое превращаетъ человѣка въ машину, но только никакъ не съ точки зрѣнія борьбы съ природой, на которую становится гр. Толстой, потому что именно благодаря спеціализаціи труда получаются наибольшіе *матеріальные* результаты, которые одни имѣютъ значеніе въ борьбѣ съ природой.

Правда что графъ Толстой пытается ослабить значеніе этого факта:

„Допустимъ, говоритъ онъ, что дѣйствительно успѣхи сдѣланные въ нашъ вѣкъ удивительны, необычайны, допустимъ что мы такіе особенные счастливцы что живемъ въ такое необыкновенное время; но попытаемся оцѣнить эти успѣхи, не на основаніи нашего самодовольства, а того самаго принципа который защищается этими успѣхами раздѣленія труда.

„Всѣ эти успѣхи очень удивительны, но по особенной несчастной случайности, признаваемой и людьми науки, до сихъ поръ успѣхи эти не улучшили, а скорѣе ухудшили положеніе большинства, то-есть рабочихъ. Если рабочій можетъ вмѣсто ходьбы проѣхаться на желѣзной дорогѣ, то за то желѣзная дорога эта сожгла его лѣсъ, увезла у него изъ-подъ носа хлѣбъ, и привела его въ состояніе близкое къ

рабству—къ кипиталисту. Если благодаря паровымъ двигателямъ и машинамъ рабочій можетъ купить дешево непрочнаго ситцу, то за то эти двигатели и машины лишили его заработка дома и привели въ состояніе совершеннаго рабства фабриканту. Если есть телефоны и телескопы, стихи, романы, театры, балеты, симфоніи, оперы, картинныя галлереи и т. п., то жизнь рабочаго отъ этого не улучшилась, потому что все это по той же несчастной случайности недоступно ему. Такъ что въ общемъ, въ чемъ согласны и люди науки, до сихъ поръ всѣ эти необычайныя пріобрѣтенія науки и искусства если не ухудшили, то никакъ не улучшили жизнь рабочаго. Такъ что если къ вопросу о дѣйствительности успѣховъ, достигнутыхъ науками и искусствами, мы приложимъ не наше восхищеніе предъ самими собой, а то самое мѣрило на основаніи котораго защищается раздѣленіе труда—пользу рабочему народу, то увидимъ что у насъ еще нѣтъ твердыхъ основаній для того самодовольства которому мы такъ охотно предаемся“.

Польза—понятіе чрезвычайно растяжимое; между матеріальною выгодой и пользой въ высшемъ нравственномъ смыслѣ нерѣдко бываетъ не только существенное различіе, но даже прямая противоположность; поэтому спорить о пользѣ вообще чрезвычайно трудно. Въ данномъ случаѣ, однако, графъ Толстой говоритъ только о матеріальной пользѣ,

легче поддающейся опредѣленію. Посмотримъ же, чтó приноситъ въ этомъ смыслѣ раздѣленіе труда для массы населенія: пользу или вредъ? Можно очень подробно сравнивать пользу желѣзной дороги со вредомъ прекращенія извознаго промысла, или пользу отъ дешеваго ситца со вредомъ отъ сокращенія тканья полотенъ и все-таки ни до чего не договориться. Къ счастью, есть другой способъ опредѣленія пользы и вреда того или другаго рода занятій, а именно количество населенія зарабатывающаго себѣ хлѣбъ посредствомъ этого занятія. То занятіе или тотъ родъ занятій который даетъ возможность на равномъ пространствѣ существовать наибольшему количеству людей есть, очевидно, самый производительный. Но стóитъ сличить густоту населенія Англіи или Бельгіи, гдѣ благодаря промышленности раздѣленіе труда достигло высшей степени, съ населенностью другихъ странъ, чтобъ убѣдиться въ томъ какой трудъ производительнѣе для самихъ рабочихъ.

Съ точки зрѣнія Л. Н. Толстаго можно возразить на это что такое явленіе возможно лишь благодаря тому что промышленные центры живутъ паразитически, только на счетъ странъ земледѣльческихъ, увозя у деревенскаго рабочаго изъ-подъ носа хлѣбъ. Но вѣдь продажа хлѣба составляетъ главный, если не единственный, доходъ всего земледѣльческаго населенія. И большинство крестьянъ

черноземной полосы Россіи было бы въ крайне затруднительномъ положеніи, не зная какъ купить топоръ, соху, соли или керосина еслибы такъ или иначе не увозили у него хлѣба.

Если возникаютъ промышленные центры, то только благодаря тому что земледѣльческое населеніе нуждается въ нихъ. Еслибы земледѣльцы не нуждались въ фабрикахъ и ремеслахъ, они ограничились бы производствомъ хлѣба въ размѣрѣ нужномъ для собственнаго пропитанія, и ремесленникамъ и фабричнымъ пришлось бы или умирать съ голода, или самимъ приниматься за земледѣліе.

Ясно такимъ образомъ что или самое мѣрило выбранное гр. Толстымъ невѣрно, или онъ невѣрно примѣнилъ его.

Но если съ точки зрѣнія юридической и экономической почти всѣ возраженія гр. Толстаго противъ современной науки и существующаго порядка вещей падаютъ сами собою, нельзя сказать того же съ точки зрѣнія этической.

Многое изъ того чтó есть и вѣроятно всегда будетъ въ силу законовъ физической природы и человѣческаго эгоизма не должно быть съ точки зрѣнія нравственнаго закона.

V.

Богатство и бѣдность. — Благотворительность частная и общественная. — Попытка графа Толстого во время переписи; причины ея неудачи.

„Всѣ кричатъ о шаткости нашего общественнаго строя, объ исключительномъ положеніи, о революціонномъ настроеніи. Гдѣ корень всего? На что̀ указываютъ революціонеры? На нищету, неравномѣрность распредѣленія богатствъ. На что указываютъ консерваторы? На упадокъ нравственныхъ основъ. Если справедливо мнѣніе революціонеровъ, что же надо сдѣлать? Уменьшить нищету и неравномѣрное распредѣленіе богатствъ. Какъ это сдѣлать? Богатымъ подѣлиться съ бѣдными. Если справедливо мнѣніе консерваторовъ, что все зло отъ упадка нравственныхъ основъ, то что можетъ быть безнравственнѣе и развратительнѣе, какъ сознательное равнодушное созерцаніе людскихъ несчастій съ одною цѣлью записывать ихъ? Что жъ

надо сдѣлать? Надо къ переписи присоединить дѣло любовнаго общенія богатыхъ, досужныхъ и просвѣщенныхъ—съ нищими, задавленными и темными".

Вотъ что писалъ графъ Толстой въ 1882 г. предъ началомъ переписи въ Москвѣ, оканчивая статью свою словами:

„Пускай механики придумываютъ машину, какъ приподнять тяжесть, давящую насъ—это хорошее дѣло; но пока они не выдумали, давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христіански налягнемъ народомъ, не поднимемъ ли. Дружнѣе, братцы, разомъ".

А вотъ что пишетъ онъ послѣ переписи:

„Помню странное впечатлѣніе, произведенное на меня встревоженными ночлежниками: оборванные, полураздѣтые, они всѣ мнѣ показались высокими при свѣтѣ фонаря въ темнотѣ двора; испуганные и страшные въ своемъ испугѣ, они стояли кучкой, слушали наши увѣренія и не вѣрили намъ и, очевидно, готовы были на все, какъ травленый звѣрь, чтобы только спастись отъ насъ... Но ворота были заперты и встревоженные ночлежники вернулись, мы же, раздѣлившись на группы, пошли... Всѣ квартиры были полны, всѣ койки были заняты и не однимъ, а часто двумя. Ужасно было зрѣлище по тѣснотѣ, въ которой жался этотъ народъ, и по смѣшенію женщинъ съ мужчинами. Женщины же, мертвецки пьяныя, спали съ мужчинами. Многія

женщины съ дѣтьми на узкихъ койкахъ спали съ чужими мужчинами. Ужасно было зрѣлище по нищетѣ, грязи, оборванности и испуганности этого народа. И главное, ужасно по тому огромному количеству людей, которые были въ этомъ положеніи. Одна квартира и потомъ другая такая же, и третья, и десятая, и двадцатая, и нѣтъ имъ конца. И вездѣ тотъ же смрадъ, та же духота, тѣснота, то же смѣшеніе половъ, тѣ же пьяные до одуренія мужчины и женщины, и тотъ же испугъ, покорность и виновность на всѣхъ лицахъ, и мнѣ стало опять совѣстно и больно какъ въ Ляпинскомъ домѣ, и я понялъ что то, что я затѣвалъ, было гадко, глупо и потому невозможно. И я уже никого не записывалъ и не спрашивалъ, зная, что изъ этого ничего не выйдетъ".

Что же могло произвести эту рѣзкую перемѣну во взглядѣ, отчего мысль, вполнѣ естественная и понятная, хотя можетъ быть недостаточно практичная, начинаетъ казаться Л. Н. Толстому не только глупою, но даже гадкою?

Одна изъ главныхъ причинъ этой перемѣны состоитъ въ томъ, что до переписи гр. Толстой былъ знакомъ только съ деревенскою нуждой.

„Нужда же городская была и менѣе правдива, и болѣе требовательна, и болѣе жестока, чѣмъ нужда деревенская. Главное же, ея было въ одномъ мѣстѣ такъ много, что она произвела на меня ужасное впе-

чатлѣніе. Испытанное мною въ Ляпинскомъ домѣ впечатлѣніе въ первую минуту заставило меня почувствовать безобразіе моей жизни. Чувство это было искренне и очень сильно. Но, несмотря на искренность и силу его, я въ первое время былъ настолько слабъ, что испугался того переворота своей жизни, къ которому призывало это чувство, и пошелъ на сдѣлки. Я повѣрилъ тому, что мнѣ говорили всѣ, и тому, что говорятъ всѣ съ тѣхъ поръ, что свѣтъ стоитъ, о томъ, что въ богатствѣ и роскоши нѣтъ ничего дурного, что оно отъ Бога дано, что можно, продолжая жить богато, помогать нуждающимся. Я повѣрилъ этому и захотѣлъ это дѣлать. И написалъ статью, въ которой призывалъ всѣхъ богатыхъ людей къ помощи. Богатые люди всѣ признали себя нравственно обязанными согласиться со мною, но, очевидно, или не желали, или не могли ничего ни дѣлать, ни давать для бѣдныхъ. Я сталъ ходить по бѣднымъ и увидалъ то, что я никакъ не ожидалъ. Съ одной стороны, я увидалъ въ этихъ вертепахъ, какъ я называлъ ихъ, людей такихъ, какимъ немыслимо было мнѣ помогать, потому что они были рабочіе люди, привыкшіе къ труду и лишеніямъ и потому стоящіе гораздо тверже меня въ жизни; съ другой стороны, я увидѣлъ несчастныхъ, которымъ я не могъ помогать, потому что они были точно такіе же какъ я. Большинство несчастныхъ, которыхъ я увидѣлъ, были несчастные

только потому, что они потеряли способность, охоту и привычку зарабатывать свой хлѣбъ, то-есть ихъ несчастіе было въ томъ, что они были такіе же, какъ я".

Несмотря на кажущуюся парадоксальность этого вывода, онъ имѣетъ, однако, вѣскія основанія: нельзя, разумѣется, помогать людямъ рабочимъ, имѣющимъ возможность зарабатывать жизнь, потому что тогда пришлось бы помогать девяти десятымъ человѣческаго рода, и какъ бы ни были велики средства благотворителя, они скоро истощатся, никому не принеся существенной пользы; нельзя помогать и тѣмъ, которые не хотятъ или даже, какъ выражается графъ Толстой, потеряли способность работать, такъ какъ это легко могло бы повести къ утратѣ этой способности и въ тѣхъ, у кого она еще есть. Но отсюда слѣдуетъ только то, что помогать надо не тѣмъ категоріямъ бѣдныхъ, на которыя преимущественно наталкивался графъ Толстой, а тѣмъ, которыя работать *не могутъ*, а такіе бѣдные несомнѣнно есть.

Но остановимся на самыхъ понятіяхъ богатства и бѣдности. Понятія эти соотносительныя и противоположныя, такъ что если богатство есть зло, бѣдность должна быть благомъ, а если бѣдность есть зло, то благомъ должно быть богатство.

Но если бѣдность есть благо, то выводя изъ нея людей, мы лишаемъ ихъ блага и такимъ обра-

зомъ, вопреки общему мнѣнію, дѣлаемъ зло. Гр. Толстой и не останавливается передъ этимъ заключеніемъ, прямо утверждая, что давать деньги значитъ давать зло.

Какъ ни парадоксально можетъ казаться мнѣніе, что богатство, составляющее мечту большинства людей, есть зло, а бѣдность благо, мнѣніе это уже много разъ высказывалось выдающимися мыслителями-моралистами, и чтобы рѣшить на чьей сторонѣ правда, надо прежде всего понятія богатства и бѣдности освободить ото всякой посторонней примѣси.

Несомнѣнно, что богатство, такъ же какъ и бѣдность, можетъ стать источникомъ множества страданій и золъ. Но въ богатствѣ есть, очевидно, двѣ стороны, по которымъ оно можетъ считаться зломъ. Оно можетъ быть зломъ, потому что тотъ избытокъ, которымъ пользуются одни, составляетъ то необходимое, котораго лишены другіе, и такимъ образомъ оно есть зло *относительно этихъ другихъ*; съ другой стороны, оно можетъ быть зломъ для самого владѣльца, развивая въ немъ множество искусственныхъ потребностей, удовлетвореніе которыхъ можетъ доставить лишь краткое удовольствіе, но гибельно отзывается на нравственной его личности.

И то и другое несомнѣнно возможно, но вопросъ не въ томъ возможно ли, а въ томъ необходимо ли это.

Представимъ себѣ человѣка одного на необи-

таемомъ островѣ. Здѣсь обыкновенное понятіе о богатствѣ, почти всегда основанное на сравненіи состоянія одного человѣка съ состояніемъ другихъ, значительно измѣняется. Разомъ исчезаютъ всѣ мотивы, заставляющіе человѣка разсматривать вещи не съ точки зрѣнія собственнаго блага, но и въ отношеніи къ другимъ людямъ. Однако, положеніе этого человѣка можетъ быть весьма различно: онъ можетъ попасть на островъ гдѣ ему будетъ постоянно грозить голодная смерть, и онъ только благодаря величайшимъ усиліямъ будетъ избѣгать ея; но можетъ попасть и на островъ, гдѣ найдетъ изобиліе плодовъ и дичи, такъ что ему почти не придется работать для пропитанія; у него, наконецъ, отъ кораблекрушенія можетъ остаться множество предметовъ благодаря которымъ онъ обставитъ жизнь свою удобно и почти роскошно.

Спрашивается, которое изъ этихъ положеній человѣкъ долженъ считать лучшимъ?

Конечно, послѣднее, такъ какъ здѣсь уже нѣтъ никакихъ постороннихъ соображеній, которыя могли бы сдѣлать пользованіе его богатствомъ почему-либо нравственно нежелательнымъ; отсюда же слѣдуетъ ясно, что богатство не можетъ считаться зломъ само по себѣ, а только потому что богатство одного есть или можетъ быть причиной бѣдности для другихъ.

Но такъ ли это на самомъ дѣлѣ? Дѣйствительно

ли тотъ излишекъ имущества, которымъ пользуются богатые обусловливаетъ соотвѣтствующій недостатокъ у бѣдныхъ? Это было бы такъ только въ томъ случаѣ, еслибы количество имуществъ было величиной постоянною, такъ что чѣмъ больше доля однихъ, тѣмъ меньше должна была бы быть доля другихъ. Ничего подобнаго нѣтъ на самомъ дѣлѣ, и увеличеніемъ имущества однихъ совсѣмъ не обусловливается уменьшеніе его у другихъ (это справедливо, и то лишь въ извѣстной мѣрѣ, относительно поземельной собственности). Вообще же наблюдается совершенно обратное явленіе, и присутствіе крупныхъ капиталовъ не только не уменьшаетъ абсолютнаго благосостоянія остальныхъ жителей, а скорѣе увеличиваетъ его, такъ какъ даетъ возможность болѣе широкой промышленности и новыхъ заработковъ для остальныхъ жителей. Доходъ англійскаго рабочаго въ нѣсколько разъ больше дохода русскаго крестьянина, несмотря на то, что въ Англіи, занимающей пространство одной нашей губерніи, сосредоточены капиталы, превышающіе въ нѣсколько разъ капиталы всей Россіи.

Очевидно, слѣдовательно, что между бѣдностью однихъ и богатствомъ другихъ совсѣмъ не существуетъ той связи которую видитъ гр. Толстой.

Если въ Лондонѣ есть масса людей умирающихъ съ голоду, то это зависитъ никакъ не оттого, что тамъ много роскоши, потому что еще чаще уми-

раютъ съ голода въ полудикихъ странахъ, гдѣ самая одежда считается роскошью. Между богатствомъ и нищетой не только нѣтъ того отношенія, доказать которое старается гр. Толстой, но скорѣе существуетъ обратнос; только сосредоточеніе крупныхъ капиталовъ въ рукахъ частныхъ лицъ или правительственныхъ учрежденій дѣлаетъ возможнымъ широкую благотворительность. Тамъ, гдѣ нѣтъ нѣкотораго излишка у однихъ, нѣтъ и возможности покрыть нищету другихъ.

Въ экономическомъ отношеніи капиталъ представляетъ собою силу только тогда когда онъ достигаетъ нѣкотораго предѣла и сосредоточивается въ однѣхъ рукахъ. Тамъ гдѣ такое средоточіе не существуетъ само собою, оно достигается искусственно въ формѣ юридическихъ лицъ, посредствомъ акціонерныхъ обществъ. Раздробите капиталъ ниже извѣстнаго минимума, и онъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ расходуется совершенно непроизводительно. Но всѣ эти соображенія, имѣющія значеніе съ точки зрѣнія государственной и общественной, нисколько не ослабляютъ значенія нравственнаго закона любви и состраданія. Нечего опасаться, что всѣ капиталисты вдругъ раздадутъ все имѣніе свое нищимъ, такъ что экономическая дѣятельность въ обществѣ прекратится. Сила человѣческаго эгоизма настолько велика, что какъ бы ни была горяча и убѣдительна проповѣдь противъ

него, она едва можетъ вырвать у него самыя скромныя уступки.

Почему же горячія страницы, съ которыми графъ Толстой обратился къ богатымъ предъ московскою переписью 1882 года, онъ признаетъ потомъ дѣломъ глупымъ и гадкимъ?

„Кто такой я,—спрашиваетъ онъ:—я тотъ, который хочетъ помогать людямъ? Я хочу помогать людямъ и я, вставъ въ 12 часовъ послѣ винта съ четырьмя свѣчами, разслабленный, изнѣженный, требующій помощи и услугъ сотенъ людей, прихожу помогать кому же? Людямъ, которые встаютъ въ пять, спятъ на доскахъ, питаются капустой съ хлѣбомъ, умѣютъ пахать, косить, насадить топоръ, тесать, запрягать, шить, людямъ которые и силой, и выдержкой во сто разъ сильнѣе меня, и я имъ хочу помогать! Что же кромѣ стыда я могъ испытывать, входя въ общеніе съ этими людьми? Самый слабый изъ нихъ пьяница, житель Ржанова дома, тотъ, котораго они называютъ лѣнтяемъ, во сто разъ трудолюбивѣе меня“.

Едва-ли однако причина неудачи попытки графа Толстого лежитъ дѣйствительно въ невозможности для людей нерабочихъ дѣлать добро людямъ рабочимъ, хотя совершенно справедливо, что дѣланіе добра не состоитъ только въ даваніи денегъ, и то, что даваніе денегъ можетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ прямо оказаться зломъ. Если я въ буквальномъ

смыслѣ брошу деньги въ толпу нищихъ, то очень возможно, что при этомъ раздавятъ или искалѣчатъ кого-нибудь, а полученной нищими суммы едва хватитъ на то, чтобы прокормить ихъ нѣсколько дней. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы матеріальная помощь, тамъ, гдѣ она дѣйствительно нужна и возможна, не была добрымъ дѣломъ.

Вообще благотворительность можетъ быть такъ же разнообразна какъ людскія страданія и людскіе пороки: и врачъ, который вылѣчиваетъ больного, и священникъ, который утѣшаетъ умирающаго, и пожарный, который спасаетъ людей изъ огня, и человѣкъ, подающій кусокъ хлѣба голодающему— дѣлаютъ доброе дѣло. Но большинство добрыхъ дѣлъ таково, что въ нихъ нельзя съ такою ясностію, какъ въ указанныхъ примѣрахъ, видѣть въ чемъ состоитъ или должно состоять благо, и чтобы сдѣлать не кажущееся, а дѣйствительное добро людямъ, надо дѣйствительно знать ихъ, а недостаточно случайной и кратковременной встрѣчи съ ними. Въ этомъ и лежала слабая сторона задуманнаго гр. Толстымъ.

Онъ видѣлъ, что недостаточно давать деньги, а необходимо болѣе близкое общеніе съ бѣдными, но не замѣтилъ, что перепись Москвы едва-ли не самый неудобный способъ для начала такого общенія. Правда, что *всѣ* бѣдные Москвы должны были въ очень короткое время пройти предъ счетчиками;

но это обстоятельство и должно было не облегчить, а сдѣлать невозможнымъ осуществленіе задуманнаго гр. Толстымъ, и скоро ему пришлось убѣдиться въ этомъ.

Л. Н. И. Толстой самъ замѣчаетъ что только входя въ Ржановъ домъ онъ понялъ неисполнимость затѣяннаго имъ.

„Я понялъ тутъ въ первый разъ, говоритъ онъ, что у всѣхъ тѣхъ несчастныхъ, которымъ я хотѣлъ благодѣтельствовать, кромѣ того времени, когда они, страдая отъ холода и голода, ждутъ впуска въ домъ, есть еще время, которое они на что-нибудь да употребляютъ, есть еще 24 часа каждыя сутки, есть еще цѣлая жизнь, о которой я прежде не думалъ. Я понялъ здѣсь въ первый разъ, что всѣ эти люди, кромѣ желанія укрыться отъ холода и насытиться, должны еще жить какъ-нибудь тѣ 24 часа каждыя сутки, которыя имъ приходится прожить такъ же какъ и всякимъ другимъ. Я понялъ, что люди эти должны и сердиться, и скучать, и храбриться и тосковать, и веселиться. Я, какъ ни странно это сказать, въ первый разъ ясно понялъ, что дѣло, которое я затѣвалъ, не можетъ состоять въ томъ только, чтобы накормить и одѣть тысячу людей, какъ бы накормить и загнать подъ крышу тысячу барановъ, а должно состоять въ томъ, чтобы сдѣлать доброе людямъ. И когда я понялъ, что каждый изъ этой тысячи людей такой же точно

человѣкъ, съ такимъ же прошедшимъ, съ такими же страстями и заблужденіями, съ такими же мыслями, такими же вопросами—такой же человѣкъ какъ и я, то затѣянное мною дѣло вдругъ представилось мнѣ такъ трудно, что я почувствовалъ свое безсиліе: но дѣло было начато, и я продолжалъ его.

„Я нѣсколько разъ до окончательнаго обхода былъ въ Ржановомъ домѣ и всякій разъ происходило одно и то же: меня осаждала толпа просящихъ людей, въ массѣ которыхъ я совершенно терялся. Я чувствовалъ невозможность что-нибудь сдѣлать, потому что ихъ было слишкомъ много и потому что чувствовалъ недоброжелательство къ нимъ за то, что ихъ такъ много; но кромѣ этого, и каждый изъ нихъ порознь не располагалъ къ себѣ. Я чувствовалъ, что каждый изъ нихъ говоритъ мнѣ неправду или не всю правду и видитъ во мнѣ только кошель, изъ котораго можно вытянуть деньги. И очень часто мнѣ казалось, что тѣ самыя деньги, которыя онъ выманиваетъ изъ меня, не улучшатъ, а ухудшатъ его положеніе. Чѣмъ чаще я ходилъ въ эти дома, чѣмъ въ большее общеніе входилъ съ тамошними людьми, тѣмъ очевиднѣе мнѣ становилась невозможность что-нибудь сдѣлать, но я все не отставалъ отъ своей затѣи до послѣдняго ночного обхода переписи.“

О результатѣ этого обхода, приведшаго гр. Толстого къ заключенію о невозможности затѣян-

ной имъ благотворительности, мы уже говорили. Но стóитъ замѣтить, что нѣкоторая неестественность въ задуманномъ способѣ благотворительности чувствовалась не только имъ самимъ и лицами, уклонившимися отъ участія въ ней, но и тѣми, которыя взялись помогать ему.

„Свѣтскіе знакомые мои одѣлись особенно, говоритъ графъ Толстой, въ какіе-то охотничьи курточки и высокіе дорожные сапоги, въ костюмъ, въ которомъ они ѣздили въ дорогу, на охоту, и который, по ихъ мнѣнію, подходитъ къ поѣздкѣ въ ночлежный домъ. Они взяли съ собой особенныя записныя книжки и необыкновенные карандаши. Они находились въ томъ особенно возбужденномъ состояніи, въ которомъ собираются на охоту, на дуэль или на войну. На нихъ яснѣе была видна глупость и фальшь нашего положенія; но и всѣ мы остальные были въ такомъ же фальшивомъ положеніи“

Мы такимъ образомъ ясно видимъ изъ собственнаго разсказа гр. Толстого причину неудачи задуманнаго имъ дѣла, и нѣтъ надобности прибѣгать къ болѣе сложнымъ объясненіямъ. Помочь *всѣмъ* было невозможно, а *кому* помочь, неизвѣстно.

Такъ выясняется неразрѣшимость задачи, поставленной авторомъ предъ началомъ переписи.

Человѣческія и христіанскія отношенія оказа-

лись невозможными, потому что съ одной стороны были отдѣльныя личности, а съ другой—толпа.

Конечно, и въ подобныхъ случаяхъ возможна еще благотворительность, но уже не та, которую имѣлъ въ виду гр. Толстой: возможна преимущественно благотворительность общественная, гдѣ на первомъ планѣ стоитъ не сердце, а разумъ, гдѣ имѣется въ виду помощь не отдѣльнымъ лицамъ, не Сидору, Ивану или Петру, а извѣстнымъ категоріямъ лицъ, слѣпымъ, голодающимъ, сиротамъ и т. п. Здѣсь устанавливаются нѣкоторые признаки, болѣе или менѣе внѣшніе, но тѣмъ не менѣе необходимые, чтобы сдѣлать возможной подобную благотворительность.

Если же хотѣть дѣлать добро отдѣльнымъ людямъ, то необходимо и знать ихъ нужды какъ отдѣльныхъ людей, что, очевидно, невозможно въ массѣ. Нѣтъ надобности сравнивать здѣсь значеніе общественной и частной благотворительности. Ихъ сфера и цѣль въ большинствѣ случаевъ совершенно различны. Насколько одна можетъ охватывать зло шире, настолько же другая можетъ глубже проникнуть къ его источнику.

Но для частныхъ лицъ истинная благотворительность, составляющая требованіе нравственнаго закона, есть преимущественно та, которая вытекаетъ изъ чувства состраданія и потому имѣетъ въ виду отдѣльныхъ лицъ. Чувство состраданія доступно и

понятно намъ только тогда, когда мы видимъ или живо представляемъ себѣ страдающаго, и видъ близкаго страданія одного человѣка вызываетъ это чувство въ гораздо сильнѣйшей мѣрѣ, чѣмъ отвлеченныя увѣренность въ мукахъ тысячъ людей, которыхъ мы не знаемъ.

Вотъ почему можно принять за общее правило, что частная благотворительность должна какъ можно больше сосредоточиваться, а не разбрасываться, и лучше дѣйствительно помочь одному человѣку, чѣмъ десятерымъ оказать пособіе, послѣ котораго они въ скоромъ времени окажутся въ томъ же или еще въ худшемъ положеніи чѣмъ прежде.

Къ этому заключенію приходитъ, повидимому, и гр. Толстой, передавая свой разговоръ съ Сютаевымъ по поводу переписи.

„Наговорившись, я обратился къ нему съ вопросомъ, чтò онъ думаетъ прò это.

„—Да все это пустое дѣло, сказалъ онъ.

„—Отчего?

„—Да вся ваша эта затѣя пустая и ничего изъ этого добра не выйдетъ,—съ убѣжденіемъ повторилъ онъ.

„—Какъ не выйдетъ? Отчего же пустое дѣло, что мы поможемъ тысячамъ, хоть сотнямъ несчастныхъ? Развѣ дурно по-евангельски голаго одѣть, голоднаго накормить?

„—Знаю, знаю, да не то вы дѣлаете. Развѣ

такъ помогать можно? Ты идешь, у тебя попроситъ человѣкъ 20 копѣекъ. Ты ему дашь. Развѣ это милостыня? Ты дай духовную милостыню, научи его, а это что же ты далъ? Только значитъ „отвяжись".

На замѣчаніе графа Толстаго, что въ одной Москвѣ можетъ быть двадцат человѣкъ умирающихъ съ голода и холода, Сютаевъ спрашиваетъ:

„—А дворовъ у насъ въ Россіи въ одной сколько? Милліонъ будетъ?

„—Ну такъ что жъ!

„—Что жъ,—и глаза его заблестѣли и онъ оживился.—Ну, разберемъ ихъ по себѣ. Я не богатъ, а сейчасъ двоихъ возьму. Вонъ малаго ты взялъ на кухню; я его звалъ къ себѣ, онъ не пошелъ. Еще десять разъ столько будь, всѣхъ разберемъ, ты возьмешь, да я возьму. Мы и работать пойдемъ вмѣстѣ; онъ будетъ видѣть какъ я работаю, будетъ учиться какъ жить, и за чашку вмѣстѣ за однимъ столомъ сядемъ, и слово онъ отъ меня услышитъ и отъ тебя. Вотъ это милостыня, а то это ваша община совсѣмъ пустая.

Значеніе *духовной* милостыни, о которой говорится здѣсь, конечно выше, чѣмъ значеніе милостыни только матеріальной; но не всякій, еслибъ и хотѣлъ, могъ бы подать ее, потому что не всякій способенъ учить и словомъ и дѣломъ, и потому нѣтъ никакого основанія слишкомъ умалять значе-

нія матеріальной помощи тамъ, гдѣ она вытекаетъ изъ чувства состраданія, а не изъ невысказаннаго желанія „отвяжись“.

Доказательство того, какъ велико можетъ быть иногда значеніе весьма скромной и исключительно матеріальной помощи, мы можемъ найти въ самой статьѣ гр. Толстого, хотя только на одномъ примѣрѣ. Разсказъ настолько простъ, характеристиченъ и ярокъ, что я позволю себѣ цѣликомъ привести его.

„Въ той ночлежной квартирѣ, въ нижнемъ этажѣ, въ 32 нумерѣ, въ которомъ ночевалъ мой пріятель, въ числѣ разныхъ перемѣняющихся ночлежниковъ, мужчинъ и женщинъ, за 5 коп. сходящихся другъ съ другомъ, ночевала и прачка, женщина лѣтъ 30, бѣлокурая, тихая и благообразная, но болѣзненная. Хозяйка квартиры—любовница лодочника. Лѣтомъ сожитель ея держитъ лодку, а зимой они живутъ сдачей квартиръ ночлежникамъ по 3 коп. безъ подушки, 5 коп. съ подушкой. Прачка нѣсколько мѣсяцевъ жила здѣсь и была тихая женщина, но въ послѣднее время ее не взлюбили за то, что она кашляла и мѣшала жильцамъ спать. Особенно 80-лѣтняя старушка, полусумасшедшая, тоже постоянная жиличка этой квартиры, возненавидѣла прачку и поѣдомъ ѣла ее за то, что она спать не даетъ и всю ночь перхаетъ какъ овца. Прачка молчала, она задолжала за квартиру и

чувствовала себя виноватою и потому ей надо было быть тихою. Она все рѣже и рѣже могла ходить на работу: силъ не хватало и потому не могла выплачивать хозяйкѣ. Послѣднюю недѣлю она вовсе не ходила на работу и только отравляла всѣмъ, особенно старухѣ, тоже не выходившей, жизнь своею перхотой. Четыре дня тому назадъ хозяйка отказала прачкѣ отъ квартиры. За ней уже набралось шесть гривенъ, и она не платила ихъ, и не предвидѣлось надежды ихъ получить, а койки всѣ были заняты и жильцы жаловались на перхоту прачки.

„Когда хозяйка отказала прачкѣ и сказала чтобы она выходила изъ квартиры, коли не отдаетъ денегъ, старуха обрадовалась и вытолкала прачку на дворъ. Прачка ушла, но черезъ часъ вернулась, и у хозяйки не хватило духу выгнать ее опять. И второй и третій день хозяйка не выгоняла ее. „Куда же я пойду?“ говорила прачка. Но на третій день любовникъ хозяйки, человѣкъ московскій и знающій порядки и обхожденіе, пошелъ за городовымъ. Городовой съ саблей и пистолетомъ на красномъ шнуркѣ пришелъ въ квартиру и, учтиво приговаривая приличныя слова, вывелъ прачку на улицу.

„Былъ ясный, солнечный, но морозный мартовскій день. Ручьи текли, дворники кололи ледъ. Сани извозчиковъ подпрыгивали по обледенѣвшему снѣгу и визжали по камнямъ. Прачка пошла въ

гору по солнечной сторонѣ, дошла до церкви и сѣла, тоже на солнечной сторонѣ, на паперти церкви. Но когда солнце стало заходить за дома, лужи стали затягиваться стеклышкомъ мороза, прачкѣ стало холодно и жутко. Она поднялась и потащилась... Куда? Домой, въ тотъ единственный домъ въ которомъ она жила въ послѣднее время. Пока она дошла, отдыхая, стало смеркаться. Она подошла къ воротамъ, завернула въ нихъ, поскользнулась, ахнула и упала.

„Прошелъ одинъ, прошелъ другой человѣкъ. „Должно, пьяная“. Прошелъ еще человѣкъ, споткнулся на прачку и сказалъ дворнику: „Какая-то у васъ пьяная въ воротахъ лежитъ, чуть голову себѣ не проломилъ черезъ нее; уберите вы ее, что ли?“

„Дворникъ пошелъ. Прачка умерла. Вотъ что разсказалъ мой пріятель... И вотъ, отслушавъ разсказъ моего пріятеля, я пошелъ въ участокъ, съ тѣмъ чтобы оттуда пойти въ Ржановъ домъ узнать подробнѣе объ этой исторіи прачки. Погода была прекрасная, солнечная; опять сквозь звѣзды ночного мороза, въ тѣни, виднѣлась бѣгущая вода, а на припарѣ солнца все таяло и вода бѣжала. Отъ рѣки что-то шумѣло. Деревья Нескучнаго Сада синѣли черезъ рѣку; порыжѣвшіе воробьи, незамѣтные зимой, такъ и бросались въ глаза своимъ весельемъ; люди какъ будто тоже хотѣли быть ве-

селы, но у нихъ у всѣхъ было слишкомъ много работы. Слышались звоны колоколовъ, и на фонѣ этихъ сливающихся звуковъ слышались изъ казармъ звуки пальбы, свистъ нарѣзныхъ пуль и чмоканье ихъ о мишень...

„Въ Ржановомъ домѣ я въ 32 нумерѣ засталъ уже чтеніе дьячка надъ покойницей. Ее внесли на бывшую ея же койку и жильцы, все голыши, собрали деньги на поминки, на гробъ и на саванъ, а старухи убрали ее и положили...

„Я взглянулъ на покойницу. Всѣ покойники хороши, но эта была особенно хороша и трогательна въ своемъ гробу; чистое блѣдное лицо, съ закрытыми выпуклыми глазами, съ ввалившимися щеками и русыми, мягкими волосами надъ высокимъ лбомъ; лицо усталое, доброе и не грустное, но удивленное. И въ самомъ дѣлѣ, если живые не видятъ, мертвые удивляются“.

Вотъ одинъ изъ тѣхъ простыхъ и правдивыхъ разсказовъ которые сами по себѣ составляютъ уже доброе дѣло и дѣйствіе которыхъ, пробуждая чувство состраданія, можетъ быть сильнѣе чѣмъ всѣ теоретическія нападки на богатство и роскошь.

Но разсматривая тотъ случай который далъ ему поводъ, что же мы видимъ? Не то чтобы матеріальная благотворительность была безполезна или невозможна, а то, что она трудна. И въ самомъ дѣлѣ, главная трудность состоитъ не въ томъ,

чтобы помочь *такимъ* бѣднымъ, а въ томъ, чтобы найти ихъ.

Что же значитъ, вообще говоря, дѣлать добро людямъ? По возможности облегчать ихъ страданія и увеличивать ихъ радости; но отсюда слѣдуетъ, что, какъ многочисленны источники человѣческихъ страданій и радостей, такъ же разнообразны могутъ быть и благодѣянія, и нѣтъ возможности свести ихъ къ одной формѣ, хотя источникъ почти всегда одинъ и тотъ же: чувство любви и состраданія. Къ сожалѣнію, чувство это не всегда бываетъ достаточно чтобы поступокъ нашъ былъ истиннымъ благодѣяніемъ, такъ какъ для того, чтобы сдѣлать добро людямъ, не достаточно хотѣть его сдѣлать, а надо еще знать въ чемъ оно состоитъ.

Это приводитъ насъ къ вопросу: въ чемъ счастье?

VI.

Физическій трудъ какъ нравственная обязанность и какъ необходимое условіе счастія.—Смѣшеніе понятій средства и цѣли въ теоріи графа Л. Н. Толстаго.

„Да прежде чѣмъ дѣлать добро, мнѣ надо стать внѣ зла, въ такія условія, въ которыхъ можно перестать дѣлать зло. А то вся жизнь моя зло", говоритъ графъ Толстой.

„Я чувствовалъ, что моя жизнь дурна и что такъ жить нельзя. Но изъ того, что моя жизнь дурна и такъ нельзя жить, я не вывелъ тотъ простой и ясный выводъ, что надо улучшить свою жизнь и жить лучше, а сдѣлалъ тотъ страшный выводъ, что для того, чтобы мнѣ было жить хорошо, надо исправить жизнь другихъ. Я жилъ въ городѣ и хотѣлъ исправить жизнь людей, живущихъ въ городѣ, но скоро убѣдился, что я этого никакъ не могу сдѣлать".

Тотъ выводъ, который дѣлаетъ въ этихъ стро-

кахъ графъ Толстой, можетъ быть не такъ безспоренъ, какъ это кажется на первый взглядъ, и первое его заключеніе не такъ страшно, какъ онъ это думаетъ.

Исправлять жизнь другихъ, потому что чувствуешь, что своя нехороша, вообще говоря, было бы нелѣпо. Но дѣло въ томъ, что то что въ данномъ случаѣ казалось нехорошо въ жизни, было именно ея несоотвѣтствіе съ жизнью другихъ, ея роскошь сравнительно съ бѣдностью другихъ — словомъ, неравенство. Но для того, чтобы сравнять двѣ величины есть два средства: можно или уменьшить большую изъ нихъ или увеличить меньшую.

Поэтому въ первоначальномъ заключеніи гр. Толстого не было ничего нелѣпаго, оно могло только быть неосуществимо въ дѣйствительности по причинамъ на которыя мы уже указывали въ предшествующей главѣ.

По мнѣнію гр. Толстого, причины эти были нѣсколько иныя.

„Первая причина была скопленіе люда въ городахъ и поглощеніе въ нихъ богатствъ деревни. Стоитъ только человѣку не желать пользоваться чужимъ трудомъ посредствомъ владѣнія землей и деньгами и потому по силамъ самому удовлетворять своимъ потребностямъ, чтобы ему никогда въ голову не пришло уѣхать изъ деревни, въ которой легче всего можно удовлетворить своимъ потребностямъ,

въ городъ, гдѣ все есть произведеніе чужого труда, гдѣ все надо купить. И тогда въ деревнѣ человѣкъ будетъ въ состояніи помогать нуждающимся и не испытаетъ того чувства безпомощности, которое я испыталъ въ городѣ, желая помогать людямъ не своимъ, а чужимъ трудомъ".

Л. Н. Толстой, повидимому, совершенно не замѣчаетъ нѣкотораго противорѣчія въ своемъ предположеніи: то что онъ говоритъ о легкости удовлетворенія потребностей въ деревнѣ собственнымъ трудомъ, совершенно справедливо, если разумѣть *свою* деревню или свою землю, хотя бы въ размѣрѣ трехъ десятинъ; но если не должно владѣть землей, положеніе сразу мѣняется, — и въ деревнѣ, точно такъ же, какъ и въ городѣ, прежде всего приходится *продать свой трудъ чтобы купить все остальное.* А въ деревнѣ это не рѣдко бываетъ труднѣе чѣмъ въ городѣ.

Вотъ что̀ значатъ тѣ слова „кормиться въ городѣ", которыя Л. Н. Толстой находитъ похожими на шутку. „Какъ изъ деревни, то-есть изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ и лѣса, и луга, и хлѣба, и скотъ, гдѣ все богатство земли, изъ этихъ мѣстъ люди приходятъ кормиться въ то мѣсто, гдѣ нѣтъ ни деревъ, ни травы, ни земли даже, а только одинъ камень и пыль? Что̀ же значатъ эти слова: „кормиться въ городѣ", которыя такъ постоянно употребляются и

тѣми, которые кормятся, и тѣми, которые кормятъ, какъ что-то вполнѣ ясное и понятное?“

Эти слова значатъ, что для человѣка, который не имѣетъ въ деревнѣ земельной собственности или, по крайней мѣрѣ, участія въ земельномъ владѣніи, найти тамъ заработокъ иногда такъ же трудно, если не труднѣе, чѣмъ въ городѣ. Впрочемъ, вопросъ о стремленіи нѣкоторой части сельскаго населенія въ города сводится къ вопросу о раздѣленіи труда, о которомъ мы уже говорили выше.

„Вторая причина“, продолжаетъ гр. Толстой, „была раздѣленіе богатыхъ съ бѣдными. Стоитъ только человѣку не желать имѣть земли и денегъ, и человѣкъ будетъ поставленъ въ необходимость удотвлетворять самъ своимъ потребностямъ, и тотчасъ же невольно разрушится та стѣна, которая отдѣляла его отъ рабочаго народа и онъ получитъ возможность помогать ему“.

Какъ въ предшествующей, такъ и въ этой фразѣ не совсѣмъ ясны слова *не желать* имѣть земли и денегъ. Чтó значитъ это „не желать“? Слѣдуетъ ли его разумѣть въ смыслѣ дѣйствительнаго неимѣнія, или только нежеланія имѣть, то-есть щедрости и нестяжательности?

Но въ первомъ случаѣ помогать будетъ некому, такъ какъ тотъ, кто ничего не имѣетъ, не можетъ и дать ничего, кромѣ собственнаго труда, а трудъ одного неумѣлаго и непривычнаго работ-

ника немного будетъ значить тамъ, гдѣ работаютъ сотни или двѣ умѣлыхъ, во второмъ же случаѣ, стѣна, раздѣляющая богатаго отъ бѣднаго, будетъ стоять попрежнему, пока не изсякнетъ богатство.

Что касается третьей причины, то она такъ субъективна, что трудно сказать насколько она можетъ имѣть общее значеніе.

„Третья причина была стыдъ, основанный на безнравственности моего обладанія тѣми деньгами, которыми я хотѣлъ помогать людямъ. Стóитъ человѣку не желать пользоваться чужимъ трудомъ, и у него никогда не будетъ тѣхъ лишнихъ денегъ, присутствіе, которыхъ у меня вызывало въ людяхъ требованія которымъ я не могъ удовлетворить, а во мнѣ чувство сознанія своей неправоты“.

Тѣ же причины, которыя мѣшаютъ дѣлать добро другимъ людямъ, по мнѣнію гр. Толстого, составляютъ и главную помѣху собственному счастію.

„Одно изъ первыхъ и всѣми признаваемыхъ условій счастія есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человѣка съ природой, то-есть жизнь подъ открытымъ небомъ, при свѣтѣ солнца, при свѣжемъ воздухѣ, общеніе съ землей, растеніями, животными. Всегда люди считали лишеніе этого большимъ несчастіемъ. Заключенные въ тюрьмахъ сильнѣе всего чувствуютъ это лишеніе. Посмотрите же на жизнь людей, живущихъ по ученію міра. Чѣмъ бóльшаго они достигли успѣха по ученію

міра, тѣмъ больше они лишены этого условія счастія; чѣмъ выше то мірское счастіе, котораго они достигли, тѣмъ меньше они видятъ свѣтъ солнца, поля и лѣса, дикихъ и домашнихъ животныхъ. Многіе изъ нихъ, почти всѣ женщины, доживаютъ до старости, разъ или два въ жизни увидавъ восходъ солнца и утро, и никогда не видавъ полей и лѣсовъ иначе какъ изъ коляски или изъ вагона, и не только не посѣявъ и не посадивъ чего-нибудь, не вскормивъ и не воспитавъ коровы, курицы, но не имѣя даже понятія о томъ, какъ, родятся, растутъ и живутъ животныя. Люди эти видятъ только ткани, камни, дерево, обдѣланные людскимъ трудомъ, и то не при свѣтѣ солнца, а при искусственномъ свѣтѣ; слышатъ они только звуки машинъ, экипажей, пушекъ, музыкальныхъ инструментовъ; обоняютъ они спиртовые духи и табачный дымъ; подъ ногами и руками у нихъ только ткани и дерево; ѣдятъ они, по слабости своихъ желудковъ, большею частію не свѣжее и вонючее. Переѣзды ихъ съ мѣста на мѣчто не спасаютъ ихъ отъ этого лишенія. Они ѣдутъ въ закрыхъ ящикахъ. И въ деревнѣ, и за границей, куда они уѣзжаютъ, у нихъ тѣ же камни и дерево подъ ногами, тѣ же гардины, скрывающія отъ нихъ свѣтъ солнца; тѣ же лакеи, кучера, дворники, не допускающіе ихъ до общенія съ землей, растеніями и животными. Гдѣ бы они ни были, они лишены, какъ заключен-

ные, этого условія счастія. Какъ заключенные утѣшаются травкой, выросшею на тюремномъ дворѣ, паукомъ, мышью, такъ эти люди утѣшаются иногда чахлыми комнатными растеніями, попугаемъ, собачкой, обезьяной, которыхъ все-таки растятъ и кормятъ не они сами".

Въ этихъ нападкахъ на искусственность городской жизни, которая лишаетъ людей общенія съ природой, гр. Толстой можетъ быть и правъ, но онъ упускаетъ изъ виду. что тѣ люди, которые добровольно отказываются отъ такого общенія большею частію къ нему и неспособны.

Для нихъ лѣса не говорили
И ночь въ звѣздахъ нѣма была.

Имъ доступнѣе условная красота тканей, позолоты и драгоцѣнныхъ камней, которыми они окружены, чѣмъ живая прелесть безконечныхъ лѣсовъ, переливовъ зари или величіе горъ у подножія которыхъ

Какъ дымъ кадильный
Синѣя вьются облака,

Если иногда они и считаютъ нужнымъ любоваться этими прелестями или расписаться „Et moi aussi j'aime la nature", вмѣстѣ съ Кобылятниковымъ, то дѣлаютъ это большею частію изъ приличія, потому что это принято, но общеніе съ природой для нихъ не есть элементъ счастія.

„Другое условіе счастія есть трудъ; во-первыхъ, любимый и свободный трудъ, во-вторыхъ, трудъ физическій, дающій аппетитъ и крѣпкій успокаивающій сонъ. Опять, чѣмъ бо́льшаго по-своему счастья достигли люди по ученію міра, тѣмъ больше они лишены и этого другого условія счастья“.

Трудъ, если подъ нимъ разумѣть противоположность праздности, составляетъ, несомнѣнно, одинъ изъ элементовъ счастія, такъ какъ съ праздностью почти всегда неразрывно связана скука. Но трудъ для гр. Толстого имѣетъ, какъ мы уже видѣли, совсѣмъ особое значеніе, такъ что многое изъ того что другіе признаютъ трудомъ, для него представляется праздною забавой, къ тому же трудъ, особенно трудъ физическій, составляетъ, по его теоріи, не только условіе счастья, но и нравственнаго совершенства человѣка.

„Третье несомнѣнное условіе счастья есть семья. И опять чѣмъ дальше ушли люди въ мірскомъ успѣхѣ, тѣмъ меньше имъ доступно это счастье. Большинство — прелюбодѣи и сознательно отказываются отъ радостей семьи, подчиняясь только ея неудобствамъ“. Совершенно справедливо, что трудно себѣ представить полное счастье внѣ семьи, и библейское „не добро быть человѣку едину“ не потеряло своей силы и теперь, когда приходится оставаться одному среди милліоновъ себѣ подобныхъ. Но если семейное счастье составляетъ идеалъ че-

ловѣческой жизни, семейныя дрязги, если не полный раздоръ, представляютъ, къ сожалѣнію, ея норму. Что же касается того, что чѣмъ выше общественное положеніе людей, тѣмъ менѣе имъ доступны семейныя радости, то эта иллюзія менѣе всего понятна въ человѣкѣ близко знакомомъ съ народною жизнью и въ авторѣ *Власти тьмы*. Прелюбодѣяніе, дѣтоубійство, отношеніе къ женщинѣ, какъ къ самкѣ или къ рабочему скоту, вотъ что мы встрѣчаемъ въ деревнѣ въ собственномъ описаніи гр. Толстого. Положимъ, картина эта слишкомъ мрачна, положимъ, и въ деревнѣ не всѣ повивальныя бабки занимаются отравленіемъ, и не всякій отецъ согласится на дѣтоубійство; но и въ ея дѣйствительномъ современномъ положеніи трудно выставлять нашу деревню идеаломъ семейной жизни.

„Четвертое условіе счастья есть свободное, любовное общеніе со всѣми разнообразными людьми міра. И опять, чѣмъ высшей степени достигли люди въ мірѣ, тѣмъ больше они лишены этого главнаго условія счастья. Чѣмъ выше, тѣмъ уже, тѣснѣе тотъ кружокъ людей, съ которыми возможно общеніе, и тѣмъ ниже, по своему умственному и нравственному развитію тѣ, нѣсколько людей, составляющіе этотъ заколдованный кругъ изъ котораго нѣтъ выхода“.

Что касается свободнаго любовнаго общенія со всѣми разнообразными людьми міра, то не говоря

объ его физической невозможности, любовное общеніе съ Папуасами едва ли могло бы доставить большое удовольствіе даже самому невзыскательному Европейцу. Затѣмъ, совершенно справедливо, что чѣмъ выше общественное положеніе человѣка, тѣмъ малочисленнѣе кругъ людей, къ которому онъ принадлежитъ; но такъ какъ время каждаго ограничено, то и этого круга обыкновенно болѣе чѣмъ достаточно, чтобы поглотить его вполнѣ, если онъ захочетъ предоставить себя въ распоряженіе равныхъ.

Что касается умственнаго и нравственнаго развитія лицъ, стоящихъ на высшихъ ступеняхъ общества, о которыхъ такъ презрительно отзывается Л. Н. Толстой, то здѣсь, очевидно, есть нѣкоторое недоразумѣніе: о нравственномъ развитіи судить чрезвычайно трудно. Но нравственныя качества человѣка не зависятъ отъ его случайнаго имущественнаго и общественнаго положенія, хотя проявленія ихъ при различныхъ условіяхъ настолько мѣняются, что сравненіе ихъ становится почти невозможнымъ. Тотъ же человѣкъ, который въ нуждѣ скроменъ до униженности, въ богатствѣ становится заносчивъ; щедрость превращается въ расточительность, бережливость въ скупость; но въ большинствѣ случаевъ богатство не рождаетъ, а только даетъ возможность проявиться наклонностямъ, которыя сдерживались нуждой. Есть, конечно, такіе пороки, которые развиваются благодаря богатству;

но вѣдь то же самое можно сказать и про бѣдность: стоитъ только вспомнить нѣкоторыя описанія Ржанова дома. Вообще сравненіе нравственнаго уровня людей дѣло настолько мудреное, что въ немъ можно найти любой результатъ, смотря по тому какой будешь искать, и нравственный уровень среды Левина или даже Вронскаго, я думаю, окажется не ниже той, въ которой происходитъ дѣйствіе *Власти тьмы*.

За то относительно умственнаго уровня сличеніе гораздо легче и убѣдительнѣе. Мы не говоримъ, разумѣется, объ умственныхъ *способностяхъ* которыя такъ же, какъ и нравственныя, будучи врожденными, независимы отъ среды, а объ уровнѣ развитія, иными словами объ уровнѣ образованія.

Но что такое высшее или низшее общество? Какъ опредѣлить различные слои его и ихъ границы? Л. Н. Толстой дѣлаетъ это весьма наглядно.

„Для мужика и его жены, говоритъ онъ, открыто общеніе со всѣмъ міромъ людей, съ которыми онъ отъ Архангельска до Астрахани, не дожидаясь визита и представленія, тотчасъ же входитъ въ самое близкое и братское общеніе. Для чиновника съ его женой есть сотни людей равныхъ ему, но высшіе не допускаютъ его до себя, а низшіе всѣ отрѣзаны отъ него. Для свѣтскаго, богатаго, человѣка и его жены есть десятки свѣтскихъ семей; остальное все отрѣзано отъ нихъ. Для министра

и богача и ихъ семей—есть одинъ десятокъ такихъ же важныхъ или богатыхъ людей, какъ и они. Развѣ это не тюремное заключеніе, при которомъ возможно общеніе только съ двумя, тремя тюремщиками?“

Замкнутость кружковъ, стоящихъ на разныхъ ступеняхъ общественной лѣстницы, конечно, существуетъ, и есть нѣкоторая комичность въ той заботливости, съ которою каждый охраняетъ свой кружокъ отъ вторженія низшихъ элементовъ; но, во-первыхъ, эта замкнутость, кромѣ тщеславія, обусловливается довольно естественною связью болѣе общихъ интересовъ и привычекъ, а во-вторыхъ, на высшихъ ступеняхъ общества она существуетъ едва ли не менѣе чѣмъ на всѣхъ остальныхъ.

Хотя гр. Толстой и утверждаетъ, что чѣмъ выше въ общественномъ положеніи, тѣмъ ниже по нравственному и умственному уровню люди составляющіе этотъ кругъ, однако едва ли и онъ рѣшится утверждать, что люди, окружавшіе Перикла или Августа, были самаго низкаго умственнаго уровня. И еслибъ Александръ не былъ сыномъ Филиппа, едва ли бы у него наставникомъ былъ Аристотель.

Все, что дѣйствительно выдается по силѣ ума и характера, неизбѣжно, сознательно или безсознательно, примыкаетъ къ высшимъ слоямъ общества, и самые рѣшительные и выдающіеся сторонники равенства, въ жизни, по необходимости, имѣютъ дѣло съ

такою общественною средой, которая далѣе всего отошла отъ него. Таковъ законъ природы и жизни, и несмотря на нелѣпыя и смѣшныя формы, въ которыхъ онъ иногда проявляется, только онъ обезпечиваетъ отъ застоя. Тамъ, гдѣ невозможно движеніе впередъ, благодаря ли кастамъ, дѣлающимъ невозможнымъ существенныя перемѣны въ общественномъ и экономическомъ положеніи отдѣльныхъ лицъ, или благодаря искусственно устанавливаемому равенству всѣхъ, одинаково исчезаетъ одинъ изъ главныхъ мотивовъ человѣческой дѣятельности.

„Наконецъ, пятое условіе счастія, говоритъ гр. Толстой, есть здоровье и безболѣзненная смерть“. Это условіе, конечно, менѣе всѣхъ остальныхъ можетъ вызвать какія-либо сомнѣнія, такъ какъ безъ здоровья никакія блага въ жизни, конечно, никогда не могутъ доставить не только прочнаго счастія, но даже и краткаго удовольствія.

Разумѣется, тоже весьма желательно, чтобы смерть была безболѣзненная, хотя и нѣсколько неожиданно встрѣтить ее въ числѣ условій земного счастія. Но и это условіе, какъ и другія по теоріи Л. Н. Толстого, сводятся къ первымъ двумъ, то-есть къ жизни въ деревнѣ и къ труду. Всѣ усовершенствованія цивилизаціи, комфорта, гигіеническихъ условій, по мнѣнію графа Толстого, имѣютъ мало или почти никакого значенія. Такимъ образомъ, основаніемъ какъ личнаго счастія, такъ и обще-

ственнаго благосостоянія остается трудъ преимущественно физическій, состоящій въ производствѣ предметовъ первой необходимости. Трудъ оказывается и первою обязанностью каждаго, и главнымъ условіемъ его собственнаго счастія.

„Что̀ дѣлать? Что̀ именно дѣлать?“ спрашиваютъ всѣ, и спрашивалъ и я, говоритъ графъ Толстой, до тѣхъ поръ, пока, подъ вліяніемъ высокаго мнѣнія о своемъ призваніи, не видѣлъ того, что первое и несомнѣнное дѣло мое было то, чтобы кормиться, одѣваться, отопляться, обстраиваться и въ этомъ же самомъ служить другимъ, потому что съ тѣхъ поръ какъ существуетъ міръ, въ этомъ самомъ состояла и состоитъ первая и несомнѣнная обязанность всякаго человѣка“.

Физическій трудъ представляется такимъ образомъ не только средствомъ, но цѣлью человѣческой жизни, и гр. Толстой иронически относится къ стремленію замѣнить его механическими приспособленіями.

„Въ Библіи сказано какъ законъ человѣка“, замѣчаетъ онъ: „въ потѣ лица снѣси хлѣбъ, въ мукахъ родиши чада“. Но „nous avons changé tout ça“, какъ говоритъ Мольеровское лицо, завравшись о медицинѣ, и сказавъ, что печень на лѣвой сторонѣ. Мы все это перемѣнили. Людямъ не нужно работать чтобы кормиться, это все будутъ дѣлать машины, а женщинамъ не нужно рожать. Наука медицины

научитъ различнымъ средствамъ, а народу и такъ слишкомъ много.

„По Крапивинскому уѣзду ходитъ оборванный мужикъ, онъ былъ во время войны закупщикомъ хлѣба у провіантскаго чиновника. Сблизившись съ чиновникомъ, увидавъ его сладкую жизнь, мужикъ сошелъ съ ума на томъ, что и онъ, такъ же какъ господа, можетъ не работать, а получать слѣдующее ему содержаніе отъ Государя Императора. Мужикъ этотъ называетъ себя теперь свѣтлѣйшимъ военнымъ княземъ Блохинымъ, поставщикомъ всякаго провіанта всѣхъ сословій. Онъ говоритъ про себя, что онъ „окончилъ всѣхъ чиновъ“ и по выслугѣ военнаго сословія долженъ получать отъ Государя Императора открытый банкъ, одежды, мундиры, лошадей, экипажи, чай, горохъ и прислугъ и всякое продовольствіе. Человѣкъ этотъ смѣшонъ для многихъ, но для меня значеніе сумасшествія его ужасно... Я всегда смотрю на этого человѣка какъ въ зеркало. Я вижу въ немъ себя и все наше сословіе. Окончить чиновъ, чтобы жить для разгулки времени и получать открытый банкъ, между тѣмъ какъ крестьяне, для которыхъ это не затруднительно по выдумкѣ машинъ, управляютъ всѣ дѣла. Это полная формуловка безумной вѣры людей нашего круга“.

Обычный взглядъ на трудъ (не отличающійся и отъ библейскаго) состоитъ въ томъ, что трудъ есть

средство существованія. Для того, чтобы жить, на
питаться, а для того, чтобъ ѣсть, надо трудить
такова естественная и логическая связь между тр
домъ и жизнью. Какое значеніе имѣетъ сама жизн
Это вопросъ рѣшающійся различно въ разны
религіозныхъ и философскихъ міровоззрѣніяхъ,
если признана необходимость жизни, тѣмъ самы
опредѣляется и отношеніе къ ней физическа
труда. Будетъ ли цѣль жизни—одно наслажден
или нравственная обязанность, или стремленіе
искупленію, трудъ во всякомъ случаѣ является
нимъ изъ звеньевъ въ цѣпи средствъ, ведущихъ
достиженію этой цѣли. Совсѣмъ иначе выходи
дѣло у графа Толстого. По его мнѣнію, „дѣло
томъ, чтобъ отвыкнуть отъ того преступнаго взгля
на жизнь, что я ѣмъ и сплю для своего удово
ствія, и усвоить себѣ тотъ простой и правдив
взглядъ, съ которымъ выростаетъ и живетъ рабо
человѣкъ что человѣкъ прежде всего есть маши
которая заряжается ѣдой для того, чтобы кормить
и что потому стыдно, тяжело, нельзя ѣсть и
работать, что ѣсть и не работать это самое бе
божное, противоестественное и потому опасное п
ложеніе, въ родѣ садомскаго грѣха. Достоинст
человѣка, его священный долгъ и обязаннос
употреблять данныя ему руки и ноги на то, д
чего онѣ даны, и поглощаемую пищу на труд
производящій эту пищу“.

Такимъ образомъ получается кругъ: человѣкъ долженъ работать, чтобы кормиться и долженъ кормиться, чтобы работать. Онъ превращается дѣйствительно во что-то похожее на паровую машину, черпающую воду, которая, обращаясь въ пары, приводитъ ее въ движеніе. Разница только въ томъ, что паровая машина производитъ еще другую работу, которая и есть ея настоящая цѣль, а человѣческая машина питается для того, чтобъ имѣть возможность работать, и работаетъ, чтобъ имѣть возможность питаться.

Теорія эта невольно напоминаетъ матеріалистическій афоризмъ, что человѣкъ есть то, что онъ ѣстъ (Der Mensch ist was es isst). Л. Н. Толстой исходитъ, конечно, изъ другой точки зрѣнія. Но если сущность и цѣль человѣческой жизни состоитъ въ томъ, чтобы работать и питаться продуктами этой работы, то несомнѣнно оказывается, что онъ въ сущности есть только то, что онъ ѣстъ.

Физическій трудъ почти всѣми людьми разсматривается, какъ необходимость; въ Библіи онъ является послѣдствіемъ грѣхопаденія; но на этотъ разъ гр. Толстой, самъ вступая въ полемику съ Моисеемъ, хочетъ перемѣнить все это и доказать, что трудъ есть не только средство, но і

Однако нѣтъ ли здѣсь недоразум
самое онъ называетъ трудомъ, что м
называть этимъ именемъ? Понятіе т

широко и разнообразно, и потому не легко дать ему сколько-нибудь точное опредѣленіе.

Не всякое движеніе или усиліе есть трудъ, какъ бы ни было велико усиліе и напряженіе, и то же самое дѣйствіе, которое составляетъ трудъ для одного, можетъ быть забавой для другого: почтальонъ, который разноситъ письма, трудится, пріятель, который отправился бы съ нимъ, чтобы поговорить съ нимъ, хотя бы они обошли вмѣстѣ тѣ же дома, гуляетъ. Форрейторъ, который ѣдетъ верхомъ—трудится, кавалькада, которая ѣдетъ съ нимъ рядомъ—катается.

Такимъ образомъ отличительный признакъ труда состоитъ не въ усиліи физическомъ или умственномъ, которое онъ предполагаетъ, а въ цѣли и результатахъ этого усилія. Правда, что трудъ можетъ быть непроизводительнымъ и все-таки оставаться трудомъ; но это только потому, что или самъ трудящійся или заставляющій трудиться предполагаютъ, что въ результатѣ труда будетъ нѣчто такое, чего въ дѣйствительности нѣтъ.

Если же трудъ исполняется не ради того, что получается или должно бы получиться, то сразу исчезаетъ различіе между трудомъ и забавой, потому что отличительный признакъ игры или забавы состоитъ именно въ томъ, что она предпринимается не ради результата, а ради самого процесса.

И наоборотъ, даже то, что обыкновенно счи-

тается забавой, какъ только оно перестаетъ быть цѣлью, а становится средствомъ для достиженія другого результата, превращается въ трудъ. Такъ для маркера игра на билліардѣ уже не игра, а работа.

Цѣли умственнаго труда настолько разнообразны, что трудно подвести ихъ подъ одну категорію. Трудится и ученый, рѣшающій астрономическую задачу, и докторъ, изслѣдующій больного, и судья, разбирающій сложное дѣло, и композиторъ, пишущій симфонію или оперу. Цѣль труда физическаго почти всегда одна, а именно доставить пищу, одежду, жилище и т. п., или деньги, какъ представители всего этого, словомъ, средства матеріальнаго существованія. Умственный трудъ можетъ быть направленъ на ту же самую цѣль, но цѣль эта не есть единственная возможная для него.

Такимъ образомъ одинаково и съ тою же цѣлью работаетъ и пахарь, чтобы получить хлѣбъ, которымъ онъ будетъ питаться, и кузнецъ или почталіонъ, которые продаютъ свой трудъ, чтобы купить этотъ хлѣбъ.

Физическій трудъ оказывается средствомъ для удовлетворенія или прямо чрезъ этотъ трудъ, или косвенно, съ помощью денегъ, тѣхъ или другихъ потребностей. Гдѣ нѣтъ потребностей, къ удовлетворенію которыхъ стремится человѣкъ, тамъ исчезаетъ и цѣль физическаго труда. Въ тропическихъ странахъ, гдѣ природа сама даетъ пропитаніе людямъ, пока

пропитаніе это достаточно, люди не заботятся объ обработкѣ земель.

Правда, что только въ рѣдкихъ случаяхъ человѣкъ можетъ безъ труда добыть средства пропитанія, но за то мы видимъ, что вездѣ онъ старается по возможности сократить этотъ трудъ. Самое раздѣленіе труда имѣетъ однимъ изъ первыхъ основаній своихъ его сокращеніе, потому что, благодаря обмѣну произведеній, они распредѣляются такъ же, какъ если бы каждый ихъ дѣлалъ самъ для себя, а благодаря спеціализаціи и вытекающимъ изъ нея приспособленіямъ и привычкѣ, количества времени и труда, употребляемыя на ихъ производство, оказываются значительно меньше.

Совершенно иначе смотритъ на дѣло Л. Н. Толстой: „Человѣкъ, считающій трудъ дѣломъ и радостью своей жизни, не будетъ искать облегченія своего труда, которое ему могутъ дать труды другихъ; человѣкъ, считающій жизнь трудомъ, будетъ ставить себѣ цѣлью, по мѣрѣ пріобрѣтенія умѣнія, ловкости и выносливости, все большій и большій трудъ, все болѣе и болѣе наполняющій его жизнь. Для такого человѣка, полагающаго смыслъ своей жизни въ трудѣ, а не въ результатахъ его, для пріобрѣтенія собственности не можетъ быть и вопроса объ орудіяхъ труда. Хотя такой человѣкъ и изберетъ всегда орудія наиболѣе производительныя, человѣкъ этотъ получитъ то же удовлетвореніе

работы и отдыха, работая и самымъ непроизводительнымъ орудіемъ".

Въ доказательство цѣлесообразности и необходимости физическаго труда для всѣхъ людей, графъ Толстой приводитъ собственный примѣръ:

„На вопросъ, что нужно дѣлать—явился самый несомнѣнный отвѣтъ: прежде всего, что мнѣ самому нужно — мой самоваръ, моя печка, моя вода, моя одежда, все, что я могу самъ сдѣлать. На вопросъ не странно ли это будетъ предъ людьми дѣлавшими это? оказалось, что странность эта продолжалась только недѣлю, а послѣ недѣли сдѣлалось бы страннымъ, еслибъ я возвратился къ прежнимъ условіямъ. На вопросъ нужно ли организовать этотъ физическій трудъ, устроить сообщество въ деревнѣ на землѣ? оказалось, что все это ненужно, что трудъ, если онъ имѣетъ своею цѣлью не пріобрѣтеніе возможности праздности и пользованія чужимъ трудомъ, каковъ трудъ наживающихъ деньги людей, а имѣетъ цѣлью удовлетвореніе потребностей, самъ собою влечетъ изъ города въ деревню къ землѣ, туда, гдѣ трудъ этотъ самый плодотворный и радостный. Сообщничества же не нужно было никакого составлять, потому что человѣкъ трудящійся самъ собою естественно примыкаетъ къ существующему сообществу людей трудящихся. На вопросъ о томъ не поглотитъ ли этотъ трудъ всего моего времени и не лишитъ ли меня возможности

той умственной дѣятельности, которую я люблю, къ которой привыкъ и которую въ минуты самомнѣнія считаю небезполезною другимъ, отвѣтъ получился самый неожиданный.

„Энергія умственной дѣятельности усилилась и равномѣрно усиливалась, освобождаясь ото всего излишняго, по мѣрѣ напряженія тѣлеснаго. Оказалось, что отдавъ на физическій трудъ восемь часовъ, ту половину дня, которую я прежде проводилъ въ тяжелыхъ условіяхъ борьбы со скукой, у меня оставалось еще восемь часовъ, изъ которыхъ мнѣ нужно было, по моимъ условіямъ, только пять для умственнаго труда; оказалось, что еслибъ я, весьма плодовитый писатель 40 почти лѣтъ, ничего не дѣлавшій кромѣ писанія и написавшій триста листовъ печатныхъ, еслибъ я работалъ всѣ эти сорокъ лѣтъ рядовую работу съ рабочимъ народомъ, то, не считая зимнихъ вечеровъ и гулевыхъ дней, еслибъ я читалъ и учился въ продолженіе пяти часовъ каждый день и писалъ бы по однимъ праздникамъ по двѣ страницы въ день (а я писывалъ по листу печатному въ день), то я написалъ бы тѣ же триста листовъ въ 14 лѣтъ. Оказалось удивительное дѣло; самый простой ариѳметическій разсчетъ, который можетъ сдѣлать 7-лѣтній мальчикъ и котораго я до сихъ поръ не могъ сдѣлать. Въ суткахъ 24 часа; спимъ мы 8 часовъ: остается—16. Если какой бы то ни было человѣкъ

умственной дѣятельности посвятить на свою дѣятельность пять часовъ каждый день, то онъ сдѣлаетъ страшно много. Куда же дѣваются остальные 11 часовъ?"

Странно, что самая простота этого ариѳметическаго разсчета не навела Л. Н. Толстого на нѣкоторыя сомнѣнія. Какъ объяснить въ самомъ дѣлѣ, что люди, привыкшіе къ умственной дѣятельности, которыхъ нельзя обвинить въ лѣни, такіе люди какъ Декартъ, Лейбницъ, Кантъ, Ломоносовъ, употребляя на нее все свое время (а не пять часовъ), иногда даже урѣзывая его у сна, не находятъ, чтобы можно было сдѣлать страшно много, а жалуются на недостатокъ времени?

Но не говоря о такихъ величинахъ, которыя двигаютъ впередъ человѣчество, самая скромная, добросовѣстная умственная дѣятельность: профессора, учителя, судьи и т. п. поглощаетъ почти все его время, а главное — все его вниманіе и силы, такъ что онъ, окончивъ ее, можетъ думать никакъ не о новой работѣ, а только объ отдыхѣ. Правда, что физическій трудъ можетъ явиться отдыхомъ отъ умственнаго, но въ такомъ случаѣ на него и смотрѣть слѣдуетъ какъ на отдыхъ или на забаву, пріятную и даже полезную, а не какъ на обязательный трудъ. Что касается ариѳметическаго разсчета, то въ него вкрались двѣ существенныя ошибки. Во-первыхъ, ни одинъ умственный работникъ не

можетъ ограничиться пятью часами работы. Мы говоримъ объ умственной *работѣ*, а не о художественномъ творчествѣ, гдѣ минуты яснаго созерцанія и вдохновенія значатъ больше, чѣмъ годы упорнаго труда. Уже съ десяти лѣтъ до двадцати или до двадцати пяти, только приготовляясь къ умственному труду, ребенку и юношѣ приходится работать по восьми и по десяти часовъ въ день.

Другая ошибка графа Толстого состоитъ въ томъ, что онъ пытается умственную дѣятельность вымѣрить, какъ десятины или пуды. Дѣятельность мысли требуетъ различныхъ условій, смотря по характеру, организму, привычкамъ человѣка: то, чтò у одного усиливаетъ энергію, совершенно парализуетъ ее у другого.

Но физичеекій трудъ, если только это дѣйствительно трудъ, а не отдыхъ и соединенъ съ усталостью, почти всегда дѣлаетъ неспособнымъ къ сколько-нибудь напряженной умственной дѣятельности. Совершенно иное дѣло, если мы будемъ смотрѣть на него какъ на движеніе, возбуждающее аппетитъ, усиливающее кровообращеніе и вообще полезное въ гигіеническомъ отношеніи, но тогда онъ теряетъ значеніе нравственной обязанности и обращается въ своего рода моціонъ, такъ же какъ гребля, верховая ѣзда или фехтованіе; въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ онъ имѣетъ даже преимущество, такъ какъ онъ менѣе однообразенъ и присут-

ствіе цѣли, какъ бы она ни была незначительна, придаетъ ему интересъ.

Если человѣкъ посредствомъ нѣкотораго способа можетъ достигнуть опредѣленнаго результата, но предпочитаетъ другой способъ, посредствомъ котораго получается однородный, но меньшій результатъ, мы имѣемъ основаніе предположить, что этотъ второй способъ для него если не простая забава, то по крайней мѣрѣ трудъ несравненно болѣе легкій. Если музыкантъ или писатель, имѣющій возможность заработать въ часъ нѣсколько рублей или нѣсколько десятковъ рублей, предпочитаетъ заняться кузнечнымъ или столярнымъ ремесломъ, мы въ правѣ думать, что для него важенъ не столько результатъ, сколько самый процессъ работы, и что ремемесло для него не столько трудъ, сколько забава.

Вотъ почему какъ бы серьезно ни относились люди способные къ умственному труду къ своей физической работѣ и какъ бы ни старались слиться съ народомъ, окружающіе чувствуютъ, что тутъ что-то не то, и имъ все кажется, что „баринъ“ не работаетъ, а просто чудитъ. По той же причинѣ не удаются даже совершенно искренніе попытки опроститься, ходить въ народъ и слиться съ нимъ. Рыба ищетъ гдѣ глубже, а человѣкъ гдѣ лучше, и никогда крестьянинъ не пойметъ, чтобы человѣкъ, который можетъ зарабатывать хоть 20 или 30 р.,

какъ волостной писарь, предпочелъ пахать землю, потому только, что физическій трудъ есть священный долгъ всякаго и что жизнь пахаря ближе къ природѣ. Но мало того, что онъ, не пойметъ и не признаетъ подобной обязанности, онъ будетъ правъ.

Возьмемъ примѣръ человѣка семейнаго: его обязанность, по мнѣнію самого гр. Толстого, такъ же, какъ и всѣхъ людей, состоитъ въ томъ чтобы трудомъ своимъ (по крайней мѣрѣ, когда у него нѣтъ другихъ средствъ) обезпечить не только собственное существованіе, но и существованіе всей семьи. Положимъ, человѣкъ этотъ можетъ и умѣетъ пахать и умѣетъ также писать толково и красивымъ почеркомъ. Первое изъ этихъ занятій можетъ дать ему отъ 30 — 60 копѣекъ въ день, второе отъ рубля до двухъ, не ясно ли, что, выбравъ первое, онъ не обезпечитъ существованія семьи и потому *обязанъ* выбрать второе. Но по теоріи гр. Толстого можно соединить то и другое; едва ли это такъ въ дѣйствительности; во-первыхъ, если онъ станетъ пахать по восьми часовъ въ день, то, не говоря о чемъ другомъ, самый почеркъ его измѣнится не къ лучшему; но, кромѣ того, получится слѣдующій ариѳметическій результатъ: каждый часъ, употребляемый имъ на переписку бумагъ приноситъ отъ 15 до 20 копѣекъ, а каждый часъ, употребляемый на пашню—отъ 3 до 5, такимъ образомъ каждый часъ переписки, замѣняемый пашней, дастъ минусъ

отъ 10 до 15 копѣекъ, которыя, вмѣсто того чтобъ идти на обезпеченіе семьи и собственнаго существованія, останутся не заработанными, потому что онъ предпочтетъ тотъ или другой видъ труда, который тѣмъ самымъ, по крайней мѣрѣ съ точки зрѣнія посторонняго человѣка, превратится въ забаву.

Итакъ, краеугольный камень нравственнаго ученія гр. Толстого — обязанность каждаго трудиться непремѣнно физическимъ трудомъ, оказывается не въ состояніи вынести того груза, который на него налагается.

Все то, чтó говоритъ гр. Толстой о жизни въ деревнѣ и общеніи съ природой, о необходимости физическаго труда, или, точнѣе, движенія—въ значительной мѣрѣ справедливо съ точки зрѣнія гигіены и личнаго спокойствія; но нельзя возводить совѣты практической мудрости въ нравственный законъ, обязательный для каждаго; тѣмъ болѣе, что справедливость этихъ совѣтовъ зависитъ больше всего отъ личнаго характера и способностей.

VII.

Графъ Л. Н. Толстой и Ж.-Ж. Руссо; тождество ихъ основныхъ положеній.—Утилитарное отношеніе къ наукамъ и искусствамъ; цивилизація какъ источникъ неравенства.—Отрицательное отношеніе къ собственности.—Противорѣчіе между теоріей графа Толстого и его творчествомъ.

Если мы захотимъ въ нѣсколькихъ словахъ выразить сущность нравственнаго ученія Л. Н. Толстого, мы увидимъ, что оно сводится къ требованію жить какъ можно проще, какъ можно ближе къ природѣ; при этомъ предполагается, конечно, что по природѣ своей человѣкъ склоненъ къ добру и что внѣшнія условія (государственныя и общественныя правила, законы, учрежденія) не улучшаютъ, а искажаютъ природу.

Тезисъ этотъ не новость въ исторіи философіи, и самымъ яркимъ представителемъ его является Ж. Ж. Руссо. Чтобъ убѣдиться въ томъ насколько міровоззрѣнія Руссо и графа Толстого близки между собой, стоитъ только прочесть статью о *Назначе-*

нія науки и искусства и увѣнчанную въ 1750 году Дижонскою академіей рѣчь о томъ: „Содѣйствовало ли возстановленіе наукъ и искусствъ очищенію нравовъ?“ На статью *О значеніи науки и искусства* я уже не разъ ссылался выше, а теперь позволю себѣ привести нѣкоторыя мѣста изъ рѣчи Руссо.

Описавъ привлекательность внѣшней стороны своего времени и своей среды, Руссо замѣчаетъ: „Какъ сладко было бы жить посреди насъ, еслибы внѣшность служила всегда выраженіемъ сердечнаго расположенія, еслибы приличіе было добродѣтелью, еслибы наши правила дѣйствительно руководили нами; еслибы истинная философія была неразрывна съ названіемъ философа. Но столько качествъ рѣдко встрѣчаются вмѣстѣ; и добродѣтель никогда не является такъ торжественно. Роскошь въ нарядѣ можетъ указывать на богатство, а изящество на вкусъ человѣка; но человѣкъ здоровый и сильный узнается по другимъ примѣтамъ. Подъ деревенскою одеждою пахаря, а не подъ позолотой придворнаго можно найти тѣлесное здоровье и силу. Не менѣе чужда нарядовъ и добродѣтель — это здоровье и сила душевныя. Человѣкъ добродѣтельный есть атлетъ, который любитъ сражаться нагимъ: онъ презираетъ всѣ ничтожныя украшенія, которыя помѣшали бы ему развернуть свои силы и бо́льшая часть которыхъ придумана только для того, чтобы скрыть то или другое уродство“.

„Иностранецъ, житель какого-нибудь отдаленнаго края, еслибы захотѣлъ составить себѣ понятіе объ европейскихъ нравахъ на основаніи состоянія наукъ, совершенства нашего искусства, приличія нашихъ зрѣлищъ, вѣжливости нашихъ манеръ, любезности нашихъ рѣчей, постоянныхъ проявленій доброжелательства и стеченія толпы людей всѣхъ возрастовъ и состояній, которые повидимому съ восхода до заката солнца спѣшатъ взаимно услужить другъ другу,—такой иностранецъ сдѣлалъ бы о нашихъ нравахъ догадку прямо противоположную дѣйствительности“.

„Гдѣ нѣтъ дѣйствія, тамъ не зачѣмъ искать и причины, но здѣсь дѣйствіе несомнѣнно и упадокъ налицо, души наши развращались по мѣрѣ того, какъ наши науки и искусства двигались къ совершенству“.

„Ежедневныя повышенія и пониженія водъ океана не болѣе правильно связаны съ теченіемъ ночнаго свѣтила, чѣмъ судьба нравовъ и честности съ успѣхомъ наукъ и искусствъ. Добродѣтель видимо бѣжала по мѣрѣ того какъ свѣтъ ихъ возрасталъ надъ нашимъ горизонтомъ, и то же явленіе замѣчалось всегда и вездѣ“.

„Есть древнее преданіе, перешедшее изъ Египта въ Грецію, что богъ, враждебный спокойствію людей, изобрѣлъ науки. Какое же мнѣніе должны были имѣть о нихъ сами Египтяне, у которыхъ онѣ ро-

дились? Дѣло въ томъ, что они близко видѣли породившіе ихъ источники".

„Въ самомъ дѣлѣ, будемъ ли мы перелистывать всемірную лѣтопись или замѣнимъ недостовѣрную хронику философическими изслѣдованіями, мы не найдемъ у человѣческихъ знаній происхожденія, соотвѣтствующаго той идеѣ, которую охотно составляютъ себѣ о немъ. Астрономія родилась изъ предразсудка, краснорѣчіе изъ честолюбія, ненависти, лести и лжи, геометрія изъ скупости, физика изъ празднаго любопытства, все, даже мораль, изъ человѣческой гордости. Значитъ и наука и искусство своимъ возникновеніемъ обязаны нашимъ порокамъ: мы бы менѣе сомнѣвались въ ихъ пользѣ еслибъ онѣ возникли изъ добродѣтели".

„Какъ унизительны для человѣчества эти размышленія! Какъ? Честность есть дочь незнанія? Науки и добродѣтель несовмѣстимы? Какихъ заключеній нельзя вывести изъ такихъ предпосылокъ! Но для того, чтобы согласить эти кажущіяся противорѣчія, стòитъ только поближе разсмотрѣть пустоту и ничтожество великолѣпныхъ наименованій, ослѣпляющихъ насъ, и которыя мы такъ напрасно приписываемъ человѣческимъ знаніямъ".

Этимъ скептическимъ отношеніемъ къ самостоятельному значенію науки и искусства не исчерпывается сходство между взглядами Руссо и графа Тол-

стого; одинаково отрицательно оба они относятся и къ ихъ практическимъ результатамъ.

„Если науки наши суетны по самому предмету своему, говоритъ Руссо, то онѣ еще болѣе опасны по тѣмъ результатамъ, которые вызываются ими. Рожденныя въ праздности, онѣ въ свою очередь питаютъ ее, и непоправимая потеря времени есть первый ущербъ, неизбѣжно наносимый ими обществу. Въ политикѣ, такъ же какъ и въ нравственности, великое зло не дѣлать добра; и каждый безполезный гражданинъ можетъ разсматриваться, какъ человѣкъ вредный. Отвѣтьте же мнѣ, славные философы, вы, благодаря которымъ мы знаемъ, въ какой пропорціи тѣла притягиваются въ пустотѣ, какъ вращаются планеты, какое отношеніе моментовъ, пройденныхъ въ разное время, какія кривыя имѣютъ точки сопряженія, точки склоненія и возвращенія, какъ человѣкъ все видитъ въ Богѣ, какъ душа и тѣло другъ другу соотвѣтствуютъ, не будучи связаны, подобно двумъ часамъ, какія свѣтила могутъ быть обитаемы; какія насѣкомыя рождаются необычайнымъ образомъ: отвѣтьте мнѣ, говорю я, вы, отъ кого мы получили столько высокихъ познаній: если бы вы насъ никогда ничему не научили изо всего этого, были ли бы мы менѣе многочисленны, хуже ли управлялись бы, или стали бы менѣе грозны, менѣе цвѣтущи, или болѣе развратны? Не кичитесь же важностью вашихъ произведеній,

и если работы самыхъ просвѣщенныхъ изъ нашихъ ученыхъ и лучшихъ изъ нашихъ гражданъ приносятъ намъ такъ мало пользы, скажите намъ, что̀ намъ думать объ этой кучѣ темныхъ писателей и праздныхъ образованныхъ людей, которые совершенно безплодно пожираютъ достояніе государства?"

„Потеря времени великое зло, но другія худшія связаны съ науками и искусствами. Такова роскошь рожденная въ праздности и тщеславіи людей. Роскошь, рѣдко встрѣчается безъ наукъ и искусствъ, а они никогда не встрѣчаются безъ нея. Я знаю, что философія наша, всегда обильная странными положеніями, утверждаетъ, вопреки опыту всѣхъ вѣковъ, что роскошь составляетъ блескъ государствъ; но забывъ необходимость сумптуарныхъ законовъ, посмѣетъ ли она отрицать и то, что добрые нравы существенны для прочности государствъ, и что роскошь діаметрально противоположна добрымъ нравамъ"?

Отсюда ясно, что для Руссо, такъ же какъ и для Л. Н. Толстого, техническія знанія только пособіе для роскоши, развращающей нравы, а чистое знаніе и искусство — праздная забава.

Такъ же какъ и гр. Толстой, главный источникъ неравенства онъ видитъ въ государственныхъ и общественныхъ условіяхъ. „Легко убѣдиться, говоритъ онъ, что многія изъ особенностей, различающихъ людей, считаются естественными, хотя они составляютъ исключительно продуктъ привычки и

различія въ образѣ жизни, принятомъ людьми въ обществѣ". По мнѣнію Руссо, это относится одинаково и къ физической и къ умственной природѣ человѣка. „Неравенство едва чувствительно въ естественномъ состояніи и вліяніе его тамъ ничтожно, но оно возростаетъ съ каждымъ шагомъ на пути культуры, потому что „если великанъ и карликъ пойдутъ одною дорогой, каждый шагъ ихъ будетъ давать новое преимущество великану".

Замѣчаніе это совершенно справедливо и не нужно даже такой первоначальной разницы какъ между великаномъ и карликомъ, чтобы въ концѣ дороги одному изъ спутниковъ удалось значительно обогнать другого. Но это только при томъ условіи, чтобы первоначальное различіе между ними сохранялось въ теченіе всего пути. А едва-ли возможно указать на что-либо подобное въ исторіи цивилизаціи.

„Первый, кто огородилъ землю и вздумалъ сказать: *это мое* и нашелъ людей довольно простодушныхъ, чтобы повѣрить ему, былъ истиннымъ основателемъ гражданскаго общества. Отъ сколькихъ преступленій, сколькихъ войнъ и убійствъ, отъ сколькихъ бѣдствій и ужасовъ избавилъ бы родъ человѣческій тотъ, кто, вырвавъ колья и зарывъ канаву, закричалъ бы себѣ подобнымъ: Берегитесь слушаться этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды принадлежатъ всѣмъ, а земля никому!"

„Но, замѣчаетъ Руссо, весьма вѣроятно, что тогда уже положеніе вещей было таково, что не могло продолжаться долѣе“.

Здѣсь оканчивается сходство между Руссо и гр. Толстымъ, оба признаютъ существующій порядокъ вещей несправедливымъ и ненормальнымъ; но Руссо старается объяснить его возникновеніе и придумать нѣчто другое, чтó бы могло замѣнить его; гр. Толстому кажется достаточнымъ исчезновеніе этого порядка, чтобы все устроилось само собою.

Руссо для идеальнаго государства придумываетъ фикцію общественнаго договора и заставляетъ служить свою фантазію то для того, чтобы возстановить жизнь первобытныхъ людей, то для того, чтобы представить себѣ идеальнаго воспитателя, воспитанника или священника. Но сквозь романическую форму его произведеній и ихъ риторическія прикрасы то и дѣло проглядываетъ скелетъ отвлеченной мысли. Совершенно обратное видимъ мы у Л. Н. Толстого, даже тамъ, гдѣ онъ хочетъ быть только логиченъ, сами собою являются краски и образы, и художникъ то и дѣло заслоняетъ мыслителя. Художникъ настолько преобладаетъ въ гр. Толстомъ, что даже чисто философскія мысли, когда онѣ выражаются имъ въ беллетристической формѣ, не проигрываютъ, а скорѣе выигрываютъ и въ яркости и въ точности.

Сравните, напримѣръ, размышленія Левина, съ философскими статьями гр. Толстого, и вы ясно убѣдитесь въ этомъ. То положеніе, въ которое поставлены дѣйствующія лица, дѣлаетъ вполнѣ понятнымъ, правдивымъ и реальнымъ то, что̀ они думаютъ, здѣсь нужна не абсолютная, не метафизическая истина, а правда художественная и психологическая, и мы не можемъ не видѣть и не понять ея въ этихъ образахъ. Въ теоретическихъ статьяхъ гр. Толстого, наоборо̀тъ, сквозь мнимую отвлеченность и логичность его положеній то и дѣло проглядываетъ субъективное настроеніе.

Гр. Толстой даже и не старается быть спокойнымъ и объективнымъ. „Мыслитель и художникъ никогда не будутъ спокойно сидѣть на Олимпійскихъ высотахъ, какъ мы привыкли воображать. Мыслитель и художникъ долженъ страдать вмѣстѣ съ людьми для того, чтобы найти спасеніе и утѣшеніе".

Что мыслители и художники должны часто страдать больше другихъ, это вѣрно и обусловливается большею чувствительностью ихъ темперамента; но чтобъ ихъ произведеніи и выводы должны были быть результатомъ именно этихъ страданій, нельзя утверждать безъ явной натяжки: это все равно что утверждать, что судья, чтобы постановить справедливый приговоръ, долженъ негодовать на преступника или жалѣть о немъ, или хирургъ, чтобы хорошо сдѣлать операцію, долженъ страдать вмѣстѣ съ больнымъ.

Только тогда, когда страданіе, любовь, или вообще какія бы то ни было движенія человѣческаго духа пережиты и онъ можетъ относиться къ нимъ спокойно, только тогда возможно и для художника и для мыслителя ихъ объективное воспроизведеніе и ихъ безпристрастная оцѣнка.

Нужны или нѣтъ для человѣчества науки и искусства—это вопросъ, о которомъ можно спорить, какъ это и дѣлаютъ Руссо и гр. Толстой; но несомнѣнно, что они возможны только тамъ, гдѣ заботы и злоба дня не поглощаютъ всего человѣка.

Цѣль науки составляютъ отвлеченныя истины, цѣль искусства художественная правда и красота; можно находить, что ни отвлеченныя истины, ни красота не улучшаютъ удѣлъ человѣчества, но нельзя навязывать ученому и художнику еще другихъ цѣлей, потому что цѣли эти могутъ быть несовмѣстимы съ его главной задачей.

Научная истина можетъ быть полезна, но не потому, что при изысканіи ея имѣлась въ виду практическая польза, а потому, что она есть *истина*, на прочномъ основаніи которой можно строить какіе угодно практическіе выводы. Наоборотъ, какъ только въ научное изслѣдованіе вносится вопросъ о тѣхъ или другихъ нравственныхъ, или практическихъ результатахъ, оно становится тенденціознымъ. и вмѣсто точныхъ научныхъ положеній получаются фантастическія гипотезы, все равно будутъ ли онѣ

относиться къ изысканію философскаго камня, или къ изслѣдованію нравственнаго вопроса.

Художественное произведеніе доставляетъ естетическое наслажденіе не потому, что художникъ хотѣлъ доставить удовольствіе зрителямъ или слушателямъ, а потому, что оно красиво. Только тотъ художникъ, который, по крайней мѣрѣ во время творчества, совершенно забываетъ о публикѣ, чтобы погрузиться въ созерцаніе предмета, въ состояніи создать нѣчто крупное.

Въ этомъ заключается отвѣтъ на вопросъ гр. Толстого: „Отчего бы, казалось, людямъ искусства не служить народу? Вѣдь въ каждой избѣ есть образа, картины, каждый мужикъ, каждая баба поютъ; у многихъ есть гармоніи и всѣ разсказываютъ исторіи, стихи и читаютъ многіе. Какъ же такъ разошлись двѣ вещи—сдѣланныя одна для другой, какъ ключъ и замокъ, — разошлись такъ, что не представляется даже возможности соединенія? Скажите живописцу чтобъ онъ писалъ безъ студіи, натуры, костюмовъ и рисовалъ бы пятикопѣечныя картинки, онъ скажетъ, что это значитъ отказаться отъ искусства, какъ онъ понимаетъ его. Скажите музыканту, чтобъ онъ игралъ на гармоніи и училъ бы бабъ пѣть пѣсни; скажите поэту-сочинителю, чтобъ онъ бросилъ свои поэмы и романы, и сочинялъ пѣсенки, исторіи, сказки, понятныя безграмотнымъ людямъ; они скажутъ, что вы сумасшедшій“.

Какъ бы ни было желательно распространеніе въ народѣ науки и искусства, для этого необходимо, чтобы существовали истинная наука и истинное искусство, а погоня за общедоступностію научныхъ и художественныхъ произведеній, хотя бы она исходила изъ весьма почтенныхъ и безкорыстныхъ мотивовъ, по результатамъ своимъ ничѣмъ не отличается отъ погони за популярностію, и еслибы, чего избави Боже, художники увлеклись проповѣдью гр. Толстого, это неизбѣжно повлекло бы къ огрубенію опошленію искусства.

Если бы жизнь человѣческая исчерпывалась матеріальными ея проявленіями, взглядъ гр. Толстого на науки и искусство имѣлъ бы достаточное основаніе, тогда единственнымъ серьезнымъ дѣломъ было бы то, что̀ поддерживаетъ эту матеріальную жизнь, то-есть физическій трудъ, а науки и искусства имѣли бы смыслъ лишь настолько, насколько содѣйствуютъ ему или служатъ отъ него отдыхомъ.

Но для того, кто признаетъ, что матеріальная жизнь есть не цѣль, а только почва, и необходимое условіе жизни духовной, истина и красота не могутъ имѣть значенія средствъ для улучшенія, сна или пищеваренія, хотя бы и не отдѣльныхъ лицъ, а цѣлыхъ народныхъ массъ.

Какъ бы высоко мы ни цѣнили значеніе физическаго труда и матеріальной благотворительности, мы не должны забывать, что не о единомъ хлѣбѣ

живъ будетъ человѣкъ. Только съ точки зрѣнія узкаго матеріализма можно послѣдовательно провести тотъ взглядъ на науку и искусство, который пытается отстаивать въ своихъ послѣднихъ произведенія графъ Толстой, но *Война и Миръ* или *Анна Каренина* навсегда останутся достаточнымъ опроверженіемъ его теоріи.

УЧЕНІЕ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО О ЖИЗНИ.

I.

Въ области чистаго отвлеченнаго знанія истины только медленно, мало-по-малу сбрасываютъ съ себя покровы, и даже тогда, когда онѣ вполнѣ усвоены тѣми немногими, которые интересуются ими, свѣтъ ихъ почти не проникаетъ въ сознаніе массы.

Совершенно другое мы видимъ относительно истинъ нравственнаго порядка; здѣсь истина или хотя бы только ея видимость сразу непосредственно переходитъ въ область человѣческой дѣятельности и потому интересуетъ не только философовъ или ученыхъ, а всѣхъ тѣхъ, кому необходимо дѣйствовать, то-есть все человѣчество. И самый предметъ изслѣдованія, и способы этого изслѣдованія, и характеръ изложенія достигнутыхъ результатовъ значительно разнятся въ виду этого отъ чисто научнаго изученія. То, чтó составило бы существенный не-

достатокъ въ логическомъ или естественно-научномъ изслѣдованіи — въ области нравственной философіи можетъ не имѣть особаго значенія или наоборотъ. Нѣкоторая неточность въ терминологіи, которая въ положительныхъ наукахъ лишаетъ всякаго значенія добытые результаты, здѣсь сплошь и рядомъ сама собой исправляется въ виду того, что предметъ, о которомъ идетъ рѣчь, близокъ каждому, а увлеченіе собственною мыслью, если и не служитъ доказательствомъ ея справедливости, ручается по крайней мѣрѣ за ея искренность и составляетъ необходимое условіе вліянія этой мысли на массу, которая въ данномъ случаѣ требуетъ прежде всего теплоты, убѣжденности, а не точности.

Вопросы о томъ, чтò намъ надо дѣлать, какъ намъ надо жить? чтò можно ожидать послѣ или внѣ этой жизни? не поддаются математическому вычисленію, и потому наибольшее вліяніе въ этой области имѣетъ всегда не тотъ, кто обставитъ свои догадки наибольшими вѣроятностями, а тотъ, кто умѣетъ выставить ихъ какъ можно рельефнѣе, съ наибольшимъ убѣжденіемъ въ ихъ непреложности.

Въ своей книгѣ о жизни (de la vie) графъ Л. Н. Толстой коснулся этихъ вопросовъ со своимъ обычнымъ талантомъ и съ гораздо большею послѣдовательностью, чѣмъ въ своихъ предшествующихъ сочиненіяхъ. Я постараюсь здѣсь дать краткое изложеніе этой книги, ограничиваясь нѣкоторыми

комментаріями, такъ какъ возражать по существу мнѣ почти не приходится.

Въ предисловіи своемъ авторъ указываетъ на необходимость заранѣе намѣченной цѣли въ каждомъ изслѣдованіи; всякая раціональная дѣятельность, замѣчаетъ онъ, отличается отъ дѣятельности нераціональной тѣмъ, что она разсужденія свои располагаетъ въ порядкѣ ихъ важности, тогда какъ дѣятельность нераціональная состоитъ изъ безпорядочныхъ разсужденій. Цѣль всѣхъ разсужденій должна опредѣлить тотъ порядокъ, въ которомъ всѣ частныя разсужденія должны расположиться, чтобы быть разумными. Всякое разсужденіе, не имѣющее связи съ общею цѣлью всѣхъ разсужденій, нелѣпо, какъ бы оно ни было логично само по себѣ.

Разсужденія, лишенныя связи съ общею цѣлью, графъ Толстой сравниваетъ съ вычисленіями Кифы Мокіевича о томъ, какой толщины должна быть скорлупа слоноваго яйца, еслибы слоны неслись подобно птицамъ. Требованіе порядка и опредѣленной цѣли въ научныхъ изслѣдованіяхъ вполнѣ справедливо и само собою подразумѣвается, такъ какъ въ противномъ случаѣ нѣтъ уже научнаго изслѣдованія, а только праздное мечтаніе. Графъ Толстой можетъ быть только слишкомъ съуживаетъ понятіе цѣли, такъ какъ въ наукѣ цѣль есть самая истина внѣ всякаго ея отношенія къ практической жизни; вычисленія Кифы Мокіевича дѣйствительно

безполезны, потому что слоны не несутъ яицъ, но опыты надъ бациллами и бактеріями, какъ они ни казались прежде безцѣльными съ точки зрѣнія практической жизни, могли привести къ лѣченію Пастера и спасти тысячи людей отъ мучительной смерти; но если не касаться этой стороны вопроса, графъ Толстой несомнѣнно правъ, и потому, приступая къ изслѣдованію о жизни, вполнѣ правильно прежде всего ставитъ вопросъ о томъ, что̀ такое жизнь? Искать ея опредѣленія.

Существующія опредѣленія автора не удовлетворяютъ, и надо признаться, что они въ большинствѣ случаевъ носятъ совершенно спеціальный характеръ, имѣющій отношеніе только къ той или другой отрасли знаній, но не открывающій смысла „жизни“ вообще.

Человѣческій языкъ все болѣе изгоняется изъ научныхъ изслѣдованій, говоритъ графъ Толстой; вмѣсто словъ, выражающихъ дѣйствительные предметы и мысли, возникаетъ научный волапюкъ, который отличается отъ настоящаго волапюка тѣмъ, что послѣдній въ общихъ терминахъ выражаетъ дѣйствительныя идеи и предметы, тогда какъ научный волапюкъ выражаетъ несуществующими словами идеи, которыя существуютъ еще меньше.

Если бы упрекъ этотъ относился ко всѣмъ положительнымъ наукамъ вообще, въ немъ была бы значительная доля преувеличенія, но такъ какъ

рѣчь идетъ, главнымъ образомъ, о наукѣ позитивной или позитивистической, то упрекъ этотъ нельзя не признать справедливымъ.

Если бы въ принципѣ признавалось пониманіе жизни въ существенномъ значеніи ея, какъ всѣ ее понимаютъ, говоритъ графъ Толстой, и если бы ясно установлено было, что положительная наука, отбрасывая всѣ стороны этого пониманія, за исключеніемъ одной, поддающейся наблюденію, разсматриваетъ явленія только съ этой стороны, прилагая къ ней свой методъ изслѣдованія, это было бы прекрасно и совсѣмъ не то, что̀ теперь. Но надо говорить то, что̀ есть и не скрывать того, что̀ мы всѣ знаемъ: развѣ мы не знаемъ, что большая часть, если не всѣ ученые, позитивисты, изучая жизнь въ ея матеріальныхъ явленіяхъ, доступныхъ чувствамъ, вполнѣ убѣждены, что они изучаютъ всю жизнь, а не одну ея сторону.

Мы всѣ знаемъ основной догматъ экспериментальной мысли лже-науки. Все, что̀ существуетъ— только матерія и энергія. Значительная часть рвенія и страстной дѣятельности экспериментальной науки зависитъ отъ желанія изобрѣсти все, что нужно, чтобы подтвердить такое удобное міровоззрѣніе.

Во всей дѣятельности этой науки встрѣчаешься не столько съ желаніемъ изучить жизненныя явленія, сколько съ постоянною заботой доказать пра-

вильность основного догмата. Сколько потрачено силъ, чтобъ объяснить происхожденіе органическаго изъ неорганическаго, психическую дѣятельность изъ явленій организма. Какъ ни разыскиваютъ фактъ, доказывающій возможность происхожденія органическаго существа изъ неорганической матеріи, его не находятъ, но никогда не отчаяваются, тѣмъ болѣе, что къ нашимъ услугамъ остается безконечный рядъ вѣковъ, куда можно отнести все то, что должно бы согласоваться съ нашимъ мнѣніемъ, но не существуетъ въ дѣйствительности.

Между тѣмъ, самыхъ существенныхъ для человѣчества вопросовъ того, что̀ нужнѣе всего, положительная наука не только не разрѣшаетъ, но и не касается.

Наука все это когда нибудь опредѣлитъ, существуетъ учрежденіе, корпорація, собраніе людей и умовъ, которое непогрѣшимо и называется наукой. Она все это опредѣлитъ со временемъ.

Но если спросятъ, что должно руководить нами при опредѣленіи законности или незаконности потребностей, на это смѣло отвѣчаютъ: „изученіе этихъ потребностей“. Но слово потребность имѣетъ только два значенія: или это условія существованія и ихъ безконечное множество для каждаго предмета и потому всѣ ихъ изучить невозможно; или это стремленіе къ добру, испытываемое живымъ существомъ, потребность воспринимаемая и опредѣляемая

исключительно сознаніемъ и слѣдовательно еще менѣе доступная для изученія экспериментальной науки.

Развѣ не ясно, что подобное рѣшеніе вопроса только парафраза царства Мессіи, царства, гдѣ наука играетъ роль Мессіи? Чтобы подобное объясненіе объяснило чтобы то ни было, надо имѣть такую же смѣлую вѣру въ догматы науки, какъ у Евреевъ въ пришествіе Мессіи.

Такъ оно и есть у исповѣдующихъ науку, съ тою только разницей, что убѣжденный Еврей, представляя себѣ Мессію, какъ посланнаго Богомъ, можетъ вѣрить, что у него будетъ власть устроить все къ лучшему, тогда какъ исповѣдующій науку не можетъ вѣрить, въ виду предмета его изученія, чтобы можно было посредствомъ внѣшняго изученія потребностей разрѣшить единственную и главную задачу жизни.

Слово жизнь, говоритъ графъ Толстой, коротко и очень ясно, каждый знаетъ, что оно значитъ. Но именно потому, что всякій понимаетъ его значеніе, мы всегда должны употреблять его въ смыслѣ общеупотребительномъ. Смыслъ этого слова ясенъ для всѣхъ не потому, чтобъ онъ былъ опредѣленъ съ точностью другими словами или идеями, а наоборотъ, потому что имъ выражается абсолютная идея, изъ которой вытекаютъ многія другія, чтобы не сказать всѣ.

Человѣкъ живетъ только для своего счастья, для своего блага. Какъ только онъ перестаетъ искать блага, онъ не чувствуетъ своей жизни. Человѣкъ не можетъ представить себѣ жизни не связывая съ ней желанія собственнаго блага. Для каждаго человѣка слово жить значитъ то же, что искать блага и стремиться къ его обладанію; отыскивать блага и стремиться къ его обладанію значитъ жить. Человѣкъ сознаетъ жизнь только въ себѣ самомъ, въ своей индивидуальности, вотъ почему онъ воображаетъ сначала, что то благо, котораго онъ хочетъ, не что иное, какъ его индивидуальное благо.

Но чѣмъ больше живетъ человѣкъ, тѣмъ яснѣе становится въ немъ сознаніе, ежечасно подкрѣпляемое опытомъ, что личное счастье для него недостижимо, что тѣ минуты наслажденія, которыя иногда выпадаютъ на его долю, могутъ служить развѣ только образчиками того идеальнаго счастья, къ которому онъ стремится.

Такимъ образомъ эта жизнь единственная, которую онъ сознаетъ, эта жизнь, единственная цѣль его дѣятельности, сводится къ чему-то обманчивому и неосуществимому, тогда какъ жизнь внѣ его, это жизнь, которую онъ не любитъ, не чувствуетъ, которая ему неизвѣстна, единственная настоящая.

То, чего онъ не чувствуетъ, одно представляетъ преимущества, которыми онъ самъ желалъ бы поль-

зоваться. И мысль эта не есть мысль, которая представляется ему въ часы унынія, это не есть мысль, которой можно избѣгнуть, это, наоборотъ, истина настолько очевидная и безспорная, что если она разъ только представится уму человѣка или если ее объяснятъ ему другіе, онъ уже никогда отъ нея не избавится и не изгладитъ изъ своего сознанія.

Жизнь человѣка, какъ индивидуума, стремящагося только къ собственному благу среди безчисленнаго множества индивидуумовъ ему подобныхъ, разрушающихъ другъ друга и погибающихъ, эта жизнь есть зло и безсмыслица и истинная жизнь не можетъ быть такова.

Приводя нѣсколько опредѣленій жизни, какъ стремленія къ благу, заимствованныхъ у философовъ и религіозныхъ учителей, графъ Толстой замѣчаетъ:

Можно не соглашаться съ этими опредѣленіями жизни и признавать, что они могли бы быть выражены болѣе точно, болѣе ясно, но нельзя не видѣть, что признаніе ихъ даетъ разумный смыслъ жизни, уничтожаетъ противорѣчія въ жизни и замѣняетъ стремленіе индивидуальности къ недостижимой цѣли стремленіемъ къ такому благу, котораго ни страданія, ни смерть не могутъ разрушить.

Какъ изъ послѣднихъ словъ, такъ и изъ общаго смысла книги его ясно, что графъ Толстой имѣетъ

все время въ виду жизнь человѣческую въ ея высшемъ значеніи, а не то, что разумѣется подъ словами жизнь животная, или жизнь органическая, т.-е. принципъ самостоятельныхъ процессовъ и измѣненій, независимый или по крайней мѣрѣ не исчерпывающійся дѣйствіями внѣшнихъ механическихъ причинъ и не имѣющій никакого, особенно сознательнаго, отношенія къ понятіямъ блага и зла.

Правда, что съ помощью „безсознательной воли" можно опредѣленіе жизни какъ стремленія къ благу расширить и на всю органическую жизнь, но хотя вліяніе Шопенгауэра и Спинозы часто чувствуется въ разбираемыхъ нами страницахъ, въ данномъ случаѣ графъ Толстой далекъ отъ такого распространенія понятія жизни, которое не могло бы не внести большой неясности въ область этики, которая зиждится если не исключительно, то преимущественно на *сознательной* дѣятельности.

Во всѣ времена существовали лжеученые, говоритъ графъ Толстой, и существуютъ и до нашего времени. Одни устно исповѣдуютъ ученіе великихъ учителей человѣчества, въ преданіяхъ которыхъ они были воспитаны; но чуждые разумному смыслу этихъ ученій, они довольствуются требованіями обрядностей. Это въ широкомъ смыслѣ ученіе фарисеевъ, т.-е. людей, которые исповѣдуютъ, что жизнь, нелѣпая сама по себѣ, можетъ быть исправ-

лена вѣрой въ другую жизнь, которая достигается соблюденіемъ внѣшнихъ обрядовъ.

Другіе, не допуская возможности иной жизни кромѣ той, которую видятъ, отрицаютъ всякое чудо—все сверхъестественное—и прямо утверждаютъ, что жизнь человѣка есть не что иное, какъ его животное существованіе отъ рожденія до смерти. Таково ученіе книжниковъ, утверждающихъ, что въ жизни человѣка, какъ животнаго, нѣтъ ничего неразумнаго.

Разбору ученій „книжниковъ“ и „фарисеевъ“ графъ Толстой посвящаетъ цѣлыхъ три главы, поэтому необходимо уяснить себѣ, что онъ разумѣетъ подъ этими названіями.

Прежде всего бросается въ глаза, что графъ Толстой почти постоянно противополагаетъ одно понятіе другому, тогда какъ въ писаніи слова книжникъ и фарисей почти всегда стоятъ рядомъ.

Подъ книжниками графъ Толстой разумѣетъ неразумныхъ послѣдователей „положительныхъ наукъ“, а подъ фарисеями неразумныхъ послѣдователей „положительныхъ религіозныхъ ученій“; какъ тѣ, такъ и другіе въ слѣпой погонѣ за буквой забываютъ, что живетъ только духъ, а буква мертва. Понятно, что въ Евангеліи не можетъ быть рѣчи о противоположеніи между книжниками и фарисеями, потому что источникъ, изъ котораго они хотятъ черпать, одинъ и тотъ же—писаніе.

Невѣрное направленіе знаній, избранное совре-

меннымъ обществомъ, нигдѣ такъ ясно не обнаруживается, говоритъ графъ Толстой, какъ въ томъ мѣстѣ, которое занимаютъ въ этомъ обществѣ ученія великихъ учителей жизни, согласно которымъ жило и образовалось человѣчество и согласно которымъ оно продолжаетъ жить и образовываться.

Въ календаряхъ, въ главѣ статистики, говорится, что число религій, исповѣдуемыхъ жителями земнаго шара, достигаетъ тысячи. Надо думать, что буддизмъ, браманизмъ, религіи Конфуція и Лао-Тзе и Христіанство содержатся въ этомъ числѣ.

Тысяча религій! И люди нашего времени простодушно вѣрятъ этому. Тысяча религій, всѣ нелѣпыя, зачѣмъ же изучать ихъ? А люди нашего времени думаютъ, что постыдно не знать послѣднихъ изреченій мудрости Спенсера, Гельмгольца или другихъ.

Что толпа не знаетъ этихъ ученій, еще не важно, но даже люди образованные, если не сдѣлали изъ этого своей спеціальности, не знаютъ ихъ, и профессіональные философы не считаютъ необходимымъ заглянуть въ эти книги.

Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ изучать этихъ людей, которые разрѣшили противорѣчіе жизни, противорѣчіе, сознаваемое разумнымъ человѣкомъ, и опредѣлили истинное благо и жизнь человѣческую? Книжники не понимаютъ этого противорѣчія, составляющаго основаніе разумной жизни, и утвер-

ждаютъ напрямикъ, что такъ какъ они не видятъ его, то никакого противорѣчія и нѣтъ, и жизнь человѣка сводится къ его животному существованію.

Жизнь есть то, что̀ совершается въ живомъ существѣ съ минуты его рожденія до минуты смерти, но животное или человѣкъ умираетъ и прекращается жизнь.

Что̀ можетъ быть яснѣе? Такъ смотрѣли на жизнь люди самые грубые, самые невѣжественные, едва возвышающіеся надъ уровнемъ животныхъ и такъ продолжаютъ смотрѣть на нее. И вотъ въ наше время ученіе книжниковъ, называющееся наукой, признаетъ это самое примитивное и грубое представленіе о жизни за единственно истинное.

Графъ Толстой совершенно справедливо вооружается здѣсь противъ той лже-науки, которая съ недостаточными средствами берется за рѣшеніе несвойственныхъ ей вопросовъ. Стремленіе опытныхъ наукъ перенести свои законы изъ области явленій на все существующее, выражаясь словами Шопенгауера, есть стремленіе физики занять тронъ метафизики.

Какъ ни презрительно относится большинство спеціалистовъ ученыхъ къ метафизическимъ вопросамъ, сами они при первой попыткѣ выйти изъ своей узкой спеціальности неизбѣжно попадаютъ въ ея область. M-r Jourdain болѣе сорока лѣтъ говорилъ прозой, самъ не подозрѣвая того. Позитивная

философія болѣе сорока лѣтъ подноситъ своимъ читателямъ и почитателямъ метафизическія гипотезы, выдавая ихъ за несомнѣнныя научныя данныя и выводы.

Но истинная наука — справедливо замѣчаетъ графъ Толстой — скромна: она знаетъ свое мѣсто, свой предметъ и свою силу. Физика говоритъ о законахъ и объ отношеніи силъ, не заботясь о томъ, что̀ такое сила сама въ себѣ, не пытаясь объяснить ея сущности, химія занимается отношеніями матеріи, не заботясь о томъ, что̀ она такое, не стараясь опредѣлить ея сущности. И сила, матерія, жизнь не разсматриваются науками, какъ предметъ изученія, а какъ точки опоры, заимствуемыя какъ аксіомы изъ другой области человѣческаго знанія и на нихъ зиждется зданіе каждой отдѣльной науки. Такъ разсматриваетъ свой предметъ истинная наука, и наука эта никогда не имѣла вреднаго и отупляющаго вліянія лже-науки.

Ложная наука, взявъ за исходную точку грубое представленіе о жизни, въ которомъ не замѣтно внутреннее противорѣчіе человѣческой жизни, составляющее ея отличительную черту, основной характеръ, эта мнимая наука въ послѣднихъ своихъ заключеніяхъ доходитъ до того, чего желаетъ громадное большинство людей—до признанія возможности блага одной личной жизни — до признанія личной и животной

жизни единственнымъ возможнымъ благомъ для человѣка.

Ложная наука идетъ даже дальше требованій грубой толпы: желая найти объясненіе этихъ требованій, она доходитъ до утвержденія того, чтò разумнымъ сознаніемъ человѣка отвергается какъ только сознаніе это проявится въ немъ—до утвержденія, что жизнь человѣка, какъ и всякаго другого животнаго, состоитъ въ борьбѣ за существованіе индивидуальности рода и вида.

Если истинный смыслъ жизни заслоняется ученіями ложной науки, такое же вредное вліяніе на человѣчество имѣютъ и религіозныя ученія, останавливающіяся на внѣшней обрядной сторонѣ и не проникающія во внутренній смыслъ религіи; а между тѣмъ подъ вліяніемъ этихъ двухъ противоложныхъ теченій воспитывается теперь большинство людей.

Почти единственнымъ руководящимъ началомъ въ ежедневной жизни для громаднаго большинства людей оказывается не сознаніе того, чтò нужно дѣлать, а простая привычка. Привычка господствуетъ надъ людьми съ тѣмъ большею силой, чѣмъ меньше они понимаютъ смыслъ своей жизни. Это руководящее начало не можетъ быть точно опредѣлено, потому что оно состоитъ изъ вещей и дѣйствій самыхъ разнообразныхъ въ пространствѣ и во времени. Для Китайца — это привычка зажигаетъ

свѣчи надъ гробницами родителей, для магометанина путешествіе къ разнымъ мѣстамъ, для Индуса нѣкоторое число молитвъ, для солдата вѣрность знамени и честь мундира, для свѣтскаго человѣка дуэль, для горца вендетта и т. д.

Въ это царство условности и привычки попадаетъ ребенокъ съ минуты своего рожденія; онъ ростетъ, не вникая въ смыслъ жизни, не замѣчая ея противорѣчія, и потому ни книжники, ни фарисеи не вліяютъ еще на него своимъ ученіемъ, а только своимъ примѣромъ.

Если отецъ и мать его въ нуждѣ, ребенокъ узнаетъ отъ нихъ, что цѣль жизни состоитъ въ пріобрѣтеніи какъ можно больше хлѣба и денегъ при возможно меньшемъ трудѣ, такъ чтобы животная индивидуальность имѣла наслажденіе, которое можетъ имѣть.

Всѣ знанія пріобрѣтаемыя бѣднымъ служатъ ему только для улучшенія личной жизни. Всѣ знанія пріобрѣтаемыя богатымъ въ наукахъ и въ искусствахъ, несмотря на всѣ громкія слова о важности наукъ и искусствъ, нужны ему только для того, чтобы побѣждать скуку и пріятно проводить время. Чѣмъ больше они живутъ, тѣмъ больше проникаются идеями свѣта. Они женятся, основываютъ семью, и жадность въ пріобрѣтеніи благъ животной жизни все возрастаетъ, оправдываемая самою семьей.

Если въ умѣ того или другого, богатаго или бѣднаго, возникаетъ сомнѣніе насчетъ разумнаго смысла подобной жизни, если тотъ или другой поставитъ себѣ вопросъ: къ чему эта безцѣльная борьба за мое существованіе, которая будетъ продолжаться въ дѣтяхъ моихъ, или къ чему эта обманчивая погоня за наслажденіями, которыя кончатся страданіями какъ для меня, такъ и для дѣтей моихъ? Если вопросы эти и возникнутъ у кого-нибудь изъ нихъ, почти нѣтъ вѣроятія, чтобъ они узнали опредѣленія жизни, данныя человѣчеству великими учителями тысячелѣтія тому назадъ, сила привычки и ученіе книжниковъ и фарисеевъ совершенно заслоняютъ эти опредѣленія.

Вотъ въ какомъ положеніи находится, по мнѣнію графа Толстого, вопросъ о жизни въ современномъ обществѣ. Признавая въ общемъ справедливость замѣчаній графа Толстого, нельзя не видѣть, что онъ иногда заходитъ слишкомъ далеко въ своей полемикѣ противъ книжниковъ и фарисеевъ, и подъ этими названіями захватываетъ иногда и вполнѣ серьезныя идеи и чувства; нѣтъ надобности всецѣло преклоняться предъ привычками, но прежде чѣмъ отбрасывать ихъ какъ ненужный хламъ, необходимо проникнуть въ ихъ внутренній смыслъ и убѣдиться, что подъ обветшалою одеждой не кроется живой сущности.

Въ дѣлѣ же религіи и нравственности даже

чисто обрядная сторона настолько связана съ цѣлымъ рядомъ преданій, что касаться ея можно лишь съ крайнею осторожностью. Такъ старое знамя, чѣмъ больше оно изорвано въ битвѣ, тѣмъ больше значенія имѣетъ въ глазахъ войска.

Какъ ни опасенъ застой и въ частной, и въ общественной жизни, страсть къ перестройкѣ и къ ломкѣ всего существующаго еще опаснѣе. Класть новый фундаментъ имѣетъ право только тотъ, кто увѣренъ въ возможности достроить зданіе до конца.

Позволю себѣ привести здѣсь слова человѣка, котораго едва-ли кто-нибудь рѣшится назвать книжникомъ или фарисеемъ.

„Самое рѣшеніе отдѣлаться отъ всѣхъ мнѣній, которымъ довѣрялъ прежде, не есть примѣръ, которому каждый долженъ бы слѣдовать. Міръ состоитъ почти исключительно изъ двоякаго рода умовъ, для которыхъ такое рѣшеніе совсѣмъ не годится. А именно, изъ такихъ, которые, считая себя болѣе искусными чѣмъ они есть въ дѣйствительности, не могутъ удержаться, чтобы не торопиться въ своихъ сужденіяхъ, ни имѣть достаточно терпѣнія, чтобы вести всѣ свои мысли по порядку, такъ что еслибъ они позволили себѣ разъ усомниться въ допущенныхъ ими принципахъ и отклониться отъ общей дороги, они никогда не могли бы удержаться въ томъ направленіи, которому надо слѣдовать, чтобъ идти прямѣе, и проплутали бы всю свою жизнь.

Другіе, у которыхъ довольно ума или скромности, чтобы думать, что они менѣе способны отличить истинное отъ ложнаго, чѣмъ тѣ, отъ которыхъ они могутъ научиться, должны скорѣе довольствоваться тѣмъ, чтобы слѣдовать мнѣніямъ этихъ послѣднихъ, чѣмъ стараться отыскивать лучшія.

„Что до меня, то я, конечно, былъ бы въ числѣ послѣднихъ, еслибъ у меня былъ только одинъ учитель и еслибъ я не зналъ различій, которыя всегда существовали во мнѣніяхъ самыхъ ученыхъ".

Это говоритъ одинъ изъ величайшихъ и самыхъ смѣлыхъ мыслителей человѣчества, котораго никто не можетъ заподозрить въ пристрастіи къ рутинѣ. Но принимаясь за громадную задачу, рѣшеніе которой должно было отразиться на умственной жизни всего человѣчества, Декартъ какъ будто собирается въ дальнее плаваніе и, никого не приглашая слѣдовать за собою, старается только запастись на мѣстѣ всѣмъ необходимымъ для временнаго существованія, пока не успѣетъ достигнуть далекаго берега.

Недостаточно,—говоритъ онъ,—предъ началомъ перестройки дома, гдѣ живешь, снести его и запастись матеріалами и строителями или самому научиться архитектурѣ; недостаточно внимательно начертить его планъ, а надо запастись еще какимъ-нибудь другимъ жилищемъ, гдѣ бы можно было удобно помѣститься во время производства работъ".

Въ виду этого Декартъ составляетъ себѣ временную мораль изъ трехъ, четырехъ правилъ: первое изъ нихъ состоитъ въ томъ, чтобы повиноваться законамъ и обычаямъ своей страны, постоянно держась той вѣры, въ которой Богу было угодно, чтобъ онъ былъ наставленъ съ дѣтства, во всемъ остальномъ руководствуясь мнѣніями самыми умѣренными и самыми далекими отъ крайностей, распространенными между самыми разумными изъ тѣхъ, съ кѣмъ мнѣ приходится жить. Такъ какъ хотя между Персами и Китайцами есть можетъ быть столь же разумные, какъ и между нами, полезнѣе всего сообразоваться съ тѣми, которые насъ окружаютъ.

II.

Но возвратимся къ оцѣнкѣ жизни гр. Толстымъ; если настоящая жизнь должна быть нелѣпа — это не только не подтверждаетъ возможности другой разумной жизни, но доказываетъ наоборотъ, что жизнь въ существѣ своемъ есть нелѣпость, что̀ жизнь должна быть нелѣпа. Этотъ пессимистическій аргументъ, указанный здѣсь только мимоходомъ, подробно развивается Гартманомъ въ критикѣ того, что̀ онъ называетъ второю стадіей иллюзіи. Но у Гартмана, такъ же, какъ и у Шопенгауэра, его отрицательное отношеніе къ личному безсмертію

вытекаетъ изъ монистической точки зрѣнія въ метафизикѣ. Графъ Толстой не касается вопроса о монизмѣ и плюрализмѣ, а остается на почвѣ практической нравственности, гдѣ поставленные имъ вопросы не только не разрѣшены, но и не разрѣшимы.

Жить для себя? — спрашиваетъ онъ:—но моя индивидуальная жизнь есть зло и нелѣпость. Жить для семьи, для общества, для отечества, для всего человѣчества? Но если жизнь моей индивидуальности несчастна и нелѣпа, то то же самое и всякая другая человѣческая индивидуальность и, слѣдовательно, соединеніе безчисленнаго множества индивидуальностей нелѣпыхъ и неразумныхъ никогда не можетъ составить одной жизни счастливой и разумной.

Человѣкъ чувствуетъ себя одинокимъ въ мірѣ предъ этими ужасными вопросами, раздирающими его душу. А между тѣмъ жить надо.

Одно изъ его *Я*, его индивидуальность, приказываетъ ему жить, но другое *Я*—его разумъ—говоритъ ему: „жить невозможно“.

Человѣкъ чувствуетъ себя раздвоеннымъ и это раздвоеніе мучительно раздираетъ его душу. А разумъ его кажется ему причиной этого раздвоенія и этого мученія.

Чтобы разрѣшить это противорѣчіе, не прибѣгая къ понятію загробной жизни, которая одна даетъ

возможность разсматривать въ общедоступной формѣ настоящую жизнь, какъ необходимый элементъ развитія человѣческой сущности, графу Толстому приходится прибѣгнуть къ теоріи идеальности времени. Эта теорія имѣетъ за себя весьма вѣскія основанія; но для людей, которымъ надо не мыслить, а „жить“, основныя положенія *Критики чистаго разума* останутся недоступны, какъ бы ясно мы ихъ ни излагали; поэтому слѣдующія главы книги графа Толстого могутъ быть правильно поняты только тѣми, кто знакомъ хоть отчасти съ философіей Канта или Шопенгауэра.

Воспитанный среди ложныхъ ученій нашего вѣка, которыя укрѣпили его въ мысли, что жизнь есть не что̀ иное, какъ его личное существованіе, человѣкъ воображаетъ, говоритъ гр. Толстой, что онъ жилъ съ минуты своего рожденія и прожилъ непрерывно много лѣтъ и вдругъ приходитъ время, когда ему становится ясно до очевидности, что дальше такъ жить онъ не можетъ, что жизнь его останавливается и разрывается. Ложное ученіе утвердило его въ той мысли, что жизнь его есть періодъ времени, содержащійся между колыбелью и могилой. Разсматривая видимую жизнь животныхъ, онъ смѣшалъ понятіе объ этой жизни со своимъ сознаніемъ и вполнѣ убѣдился, что эта видимая жизнь его есть въ самомъ дѣлѣ его настоящая жизнь; но пробудившееся въ немъ разумное сознаніе вызываетъ

въ немъ потребности, которыя его животная природа удовлетворить не можетъ, и онъ понимаетъ всю ошибочность своихъ представленій о жизни. Однако ложное ученіе, которымъ онъ пропитанъ, мѣшаетъ ему понять свое заблужденіе. Онъ не можетъ представить себѣ жизнь иначе, какъ въ формѣ животнаго существованія. Ему кажется, что пробужденіе его разумнаго сознанія остановило его жизнь. Но то, чтó онъ называетъ жизнью, чтò ему кажется прерваннымъ, никогда не существовало. То, чтó онъ называетъ жизнью—его существованіе со времени рожденія—никогда не было ею.

Человѣкъ хочетъ опредѣлить свою жизнь временемъ, какъ онъ дѣлаетъ это относительно видимаго внѣшняго существованія, и вдругъ предъ нимъ появляется жизнь, не совпадающая со временемъ его тѣлеснаго рожденія, и онъ отказывается вѣрить, чтобы жизнь была именно то, чтò не можетъ быть опредѣлено временемъ. Но сколько бы онъ ни искалъ во времени точки, на которую могъ бы смотрѣть какъ на начало своей раціональной жизни, онъ никогда не найдетъ ея

Когда человѣкъ вопрошаетъ себя о возникновеніи его разумнаго сознанія, онъ, какъ разумное существо, никогда не разсматриваетъ себя, какъ сына своего отца и матери, внука предковъ своихъ родителей, рожденнаго въ такомъ-то году; оставляя въ сторонѣ всякое представленіе о какой бы то ни

было филіаціи, онъ чувствуетъ, что отождествляется съ сознаніемъ разумныхъ существъ, которыя совершенно чужды ему по времени и пространству, которыя жили нѣсколько тысячелѣтій раньше его на другомъ концѣ свѣта. Въ своемъ разумномъ сознаніи онъ не находитъ и слѣдовъ своего индивидуальнаго происхожденія, но чувствуетъ связь, которая соединяетъ его внѣ времени и пространства съ другими разумными сознаніями, которыя отождествляются съ его собственнымъ, какъ еслибъ онъ проникалъ въ нихъ или они въ него. Отъ пробужденія его разумнаго сознанія ему кажется что останавливается, то подобіе жизни, которое люди блуждающіе принимаютъ за жизнь. Люди воображаютъ, что жизнь останавливается тогда, когда она пробуждается.

Мучительное сознаніе внутренняго противорѣчія въ человѣческой жизни прекращается, какъ только оно начинаетъ признавать закономъ не низшій законъ индивидуальности, а высшій законъ, который открывается ему въ разумномъ сознаніи и содержитъ въ себѣ этотъ первый законъ, тогда индивидуалистъ его свободно подчиняется разумному сознанію и служитъ его цѣлямъ.

Но что такое разумное сознаніе? Евангеліе отъ Іоанна говоритъ, что слово логосъ (λόγος, т.-е. разумъ, премудрость, слово), есть начало, что все въ немъ и все изъ него; итакъ, разумъ, который

опредѣляетъ все остальное, не можетъ быть опредѣленъ никоимъ образомъ.

Разумъ не можетъ быть опредѣленъ и намъ не зачѣмъ опредѣлять его, потому что мы не только всѣ знаемъ его, но не знаемъ ничего, кромѣ него. Въ нашихъ сношеніяхъ съ другими мы прежде всего убѣждены, что разумъ этотъ одинаково обязателенъ для насъ всѣхъ. Мы убѣждены, что разумъ есть единственное основаніе, связующее все живущее.

Только въ подчиненіи нашей животной природы закону разума для достиженія блага и состоитъ вся наша жизнь. Когда мы не понимаемъ, что наше благо и наша жизнь состоятъ въ подчиненіи нашей животной индивидуальности закону разума, когда мы жизнь свою полагаемъ въ благѣ и существованіи этой индивидуальности, когда мы отказываемся отъ возложенной на насъ задичи, мы лишаемся истиннаго блага и нашей истинной жизни.

Понятіе объ истинномъ благѣ человѣкъ можетъ заимствовать только изъ собственнаго разумнаго сознанія; сколько бы ни изучали люди прошлое человѣка, какъ животнаго, они никогда не почерпнутъ въ немъ понятія истиннаго блага; какъ бы ни усвоивалъ себѣ человѣкъ познаніе законовъ, господствующихъ надъ матеріей и надъ его собственнымъ животнымъ существомъ, онъ никогда не въ состояніи будетъ вывести отсюда, что ему надо

сдѣлать съ тѣмъ кускомъ хлѣба, который у него въ рукахъ—отдать ли его женѣ, чужому или собакѣ, или съѣсть его самому? Защищать ли его или отдать тому, кто его спроситъ? А между тѣмъ жизнь человѣческая вся состоитъ изъ разрѣшенія этихъ и тому подобныхъ вопросовъ.

Не во власти человѣка, который хочетъ жить, остановить или прекратить свое существованіе во времени; но его истинная жизнь, т.-е. пріобрѣтеніе блага посредствомъ подчиненія разуму, независима отъ этихъ видимыхъ движеній во времени и въ пространствѣ. Только въ прогрессивномъ подчиненіи разуму и состоитъ человѣческая жизнь.

Человѣкъ, начинающій жить разумною жизнью, возвышается надъ своимъ прошлымъ и съ этой высоты замѣчаетъ призракъ своей животной жизни, которая неизбѣжно кончается смертью; онъ видитъ, что поверхность его существованія со всѣхъ сторонъ ограничена безднами, но не понимая, что его движеніе вверхъ и есть настоящая жизнь, онъ пугается того, что̀ увидѣлъ съ высоты, онъ опускается какъ можно ниже, чтобы не видѣть той пропасти, которая предъ нимъ открылась, сила разумнаго сознанія снова его поднимаетъ, и испуганный онъ снова падаетъ на землю.

Но онъ долженъ понять, что у него есть крылья, которыя удерживаютъ его надъ пропастью, что безъ нихъ онъ никогда не могъ бы подняться и видѣть

бездны. Онъ долженъ довѣриться этимъ крыльямъ и летѣть туда, куда они увлекаютъ его. Только отъ недостатка вѣры происходятъ эти признаки колебанія, которые кажутся такъ странны сначала, это пріастоновка жизни и раздвоеніе сознанія.

Только человѣкъ, принимающій за жизнь свое животное существованіе, ограниченное пространствомъ и временемъ, можетъ думать, что разумное сознаніе проявляется только отъ времени до времени въ теченіе этого животнаго существованія.

Въ дѣйствительности же нѣтъ другой жизни, кромѣ жизни этого сознанія. Перерывы въ одну минуту или 60.000 лѣтъ, въ отношеніи его ничто, потому что оно внѣ времени. Истинная жизнь человѣка та, согласно которой онъ понимаетъ всякую другую, есть стремленіе къ благу, котораго онъ можетъ достигнуть подчиненіемъ своей индивидуальности закону разума. Но ни разумъ, ни степень подчиненности разуму не могутъ быть опредѣлены пространствомъ и временемъ. Истинная жизнь человѣческая совершается внѣ пространства и времени.

Жизнь есть стремленіе къ благу, но разумное сознаніе постоянно показываетъ человѣку, что удовлетвореніе потребностей его животной личности не можетъ быть его благомъ и слѣдовательно его жизнью. Обыкновенно думаютъ и говорятъ, что отреченіе отъ личнаго блага есть актъ героизма и

особая заслуга со стороны человѣка. Отреченіе отъ личнаго блага не есть ни особая заслуга, ни актъ героизма — это необходимое условіе человѣческой жизни. Сознавая себя индивидуальностью, отличною отъ цѣлаго міра, онъ въ то же время познаетъ другія индивидуальности, отличныя отъ міра, и связь, соединяющую ихъ. Онъ сознаетъ призрачность индивидуальнаго блага и реальность единственнаго блага, которое можетъ удовлетворить разумное сознаніе. Сознаніе индивидуальности для человѣка не есть жизнь, а только точка, гдѣ начинается жизнь, состоящая въ постепенномъ пріобрѣтеніи блага, которое ей свойственно и независимо отъ блага животной индивидуальности. Отреченіе отъ блага индивидуальной жизни есть законъ жизни человѣческой. Если законъ этотъ не исполняется свободно, проявляясь въ подчиненіи разумному сознанію, онъ совершается по неволѣ въ каждомъ человѣкѣ во время тѣлесной смерти его какъ животнаго, когда подавленный бременемъ страданій, онъ желаетъ только одного: освободиться отъ мучительнаго чувства своей умирающей индивидуальности, чтобы перейти въ другую форму бытія.

Итакъ, жизнь должна состоять въ подчиненіи разумному сознанію, но чего же оно требуетъ?

Разумное сознаніе говоритъ человѣку: „да, ты можешь достигнуть блага, но только при томъ условіи, чтобы всѣ люди любили тебя больше, чѣмъ

себя самихъ, и то же сознаніе доказываетъ человѣку, что это невозможно, потому что всякій любитъ только себя. Слѣдовательно единственное благо открываемое человѣку разумнымъ сознаніемъ, скрывается отъ него тѣмъ же сознаніемъ".

Но загадка разрѣшается просто, говоритъ гр. Толстой: ты хочешь, чтобы всѣ жили только для тебя, чтобы каждый любилъ тебя больше себя самого? Желаніе твое можетъ исполниться только при одномъ условіи; условіе это состоитъ въ томъ, чтобы все живущеее перестало жить для собственнаго блага и начало жить для блага другихъ, чтобъ они начали любить другихъ болѣе себя самихъ. Намъ кажется, что гр. Толстой, желая въ сущности сказать то же самое, что предписывается второю евангельскою заповѣдью, напрасно измѣняетъ форму ея.

Для того, чтобъ опредѣлить идеалъ отношенія человѣка къ другимъ, достаточно сказать: возлюби ближняго твоего, какъ самого себя. Требовать отъ человѣка любви большей, чѣмъ къ самому себѣ, можно, даже съ точки зрѣнія идеальной нравственности, только къ тому, что стоитъ неизмѣримо выше, а не наравнѣ съ нимъ.

Если личность каждаго человѣка въ отдѣльности лишена всякаго значенія, то не имѣетъ значенія и сумма всѣхъ людей, состоящая изъ такихъ же отдѣльныхъ личностей, и каково бы ни было отно-

шеніе между этими лишенными значенія индивидуальностями, само оно лишено значенія.

Есть только два условія, при которыхъ подобное отношеніе можетъ имѣть дѣйствительный смыслъ: или каждая изъ этихъ личностей сама по себѣ есть нѣчто безусловное, реальное и потому отношеніе между ними опредѣляется ихъ собственною сущностью, или личности эти не имѣютъ безусловной самобытности, но заимствуютъ ее отъ другого абсолютно реальнаго начала. Ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ требованіе любви большей, чѣмъ къ себѣ самому, не можетъ имѣть мѣста въ отношеніи къ равнымъ, а только въ отношеніи къ Богу.

Требованія *подчиненія* личнаго блага, благу общему есть требованія разума и вытекаютъ изъ отношенія человѣка къ цѣлому и къ его первой причинѣ, а не изъ отношенія къ другой личности, такой же, какъ и онъ самъ.

Сознательное подчиненіе интересовъ своей личности цѣлямъ міроваго процесса, насколько они доступны человѣку, есть, разумѣется, высшее возможное для него благо, и въ этомъ отношеніи гр. Толстой совершенно правъ. Разумный человѣкъ, говоритъ онъ, — не можетъ не признать, что допустивъ въ теоріи возможность замѣнить стремленіе къ собственному благу стремленіемъ къ благу другихъ существъ, жизнь его изъ неразумной и несчастной, какою она была прежде, превращается

въ разумную и счастливую. Онъ не можетъ не видѣть, что еслибы та же идея жизни раздѣлялась и другими, жизнь всего міра изъ безсмысленной превратилась бы въ разумную. Цѣль существованія вселенной представляется ему, какъ безконечный прогрессъ къ свѣту, какъ единеніе всѣхъ существъ во вселенной. Это единеніе и есть цѣль жизни; благодаря ему сначала люди, а потомъ и всѣ живыя существа, все болѣе подчиняясь закону разума, поймутъ, что счастіе въ существованіи не достигается стремленіемъ каждаго существа къ своему личному благу, а стремленіемъ, согласнымъ съ закономъ разума каждаго существа къ счастію всѣхъ остальныхъ.

Въ стремленіи своемъ къ этой высшей и послѣдней цѣли человѣкъ не можетъ и не долженъ отрекаться отъ своей индивидуальности, не болѣе чѣмъ отъ остальныхъ условій своего существованія; но онъ не можетъ и не долженъ принимать эти условія за самую жизнь; не отречься отъ своей индивидуальности, а отказаться отъ счастія этой индивидуальности, перестать разсматривать ее какъ самую жизнь, вотъ что человѣкъ долженъ сдѣлать, чтобы то счастье, къ которому должна стремиться его жизнь, сдѣлалось ему доступно.

„Это буддизмъ, это нирвана“, говорятъ на это люди нашего вѣка и думаютъ, что они все опровергли этими словами, ихъ нисколько не смущаетъ

мысль, что большая часть человѣчества такъ понимала и такъ понимаетъ жизнь, что величайшіе умы такъ понимали ее и что иначе и понимать нельзя. Они такъ убѣждены, что всѣ жизненныя задачи, когда онѣ разрѣшены еще не вполнѣ удовлетворительно, могутъ быть обойдены съ помощью телефона, оперетокъ, бактеріологіи, электрическаго освѣщенія, робюрита и т. д., они такъ убѣждены въ этомъ, что идея отреченія отъ блага индивидуальной жизни кажется имъ остаткомъ древняго невѣжества.

И однако эти несчастные не подозрѣваютъ, что самый грубый Индусъ, стоящій на одной ногѣ въ теченіе нѣскольких лѣтъ во имя отреченія отъ индивидуальнаго блага и достиженія нирваны, имѣетъ въ себѣ несравненно болѣе жизни, чѣмъ они, представители нашего европейскаго общества, превратившіеся въ животныхъ, облетающіе землю по желѣзнымъ дорогамъ и показывающіе цѣлому міру при свѣтѣ электричества свое животное состояніе.

Индусъ понялъ, что есть противорѣчіе между индивидуальною и разумною жизнью и посвоему разрѣшаетъ его; люди нашего цивилизованнаго свѣта не только не поняли этого противорѣчія, но не вѣрятъ даже, чтобъ оно существовало.

Идея, что человѣческая жизнь не есть индивидуальное существованіе, это истина, купленная цѣной нравственной работы всего человѣчества въ

теченіе тысячелѣтій, стала для человѣка (не животнаго) въ области нравственной истиной столь же несомнѣнною, какъ вращеніе земли и законы тяготѣнія. Всякій человѣкъ мыслящій, ученый, невѣжда, старикъ, ребенокъ понимаетъ и знаетъ ее; она неизвѣстна только самымъ дикимъ туземцамъ Африки и Австраліи, и людямъ незнающимъ нужды, живущимъ въ городахъ и столицахъ Европы, вернувшимся въ дикое состояніе.

Ученіе, которое всегда называлось благовѣствованіемъ, открыло людямъ, что вмѣсто призрачнаго блага, котораго они отыскиваютъ для животной индивидуальности, они могутъ получить непосредственно тамъ, гдѣ находятся, а не въ какую-нибудь отдаленную эпоху и неизвѣстно гдѣ, реальное, непредписуемое благо всегда для нихъ достижимое.

Всѣ люди знаютъ чувство, разрѣшающее всѣ противорѣчія жизни и дающее человѣку высшее благо—чувство это любовь.

III.

Жизнь есть дѣятельность животной индивидуальности, подчиненная закону разума. Разумъ есть законъ, которому должна подчиняться эта дѣятельность человѣческая для достиженіи своего блага. Любовь есть единственная разумная дѣятельность человѣка.

Животная индивидуальность человѣка стремится къ благу; разумное познаніе показываетъ ему горестное состояніе всѣхъ существъ, поглощенныхъ борьбой другъ противъ друга; оно показываетъ ему, что благо недостижимо для его животной индивидуальности и что единственное благо, которое могло бы быть для него доступнымъ, то, которое не вызывало бы ни борьбы между другими существами, ни прекращенія счастья, ни пресыщенія, ни опасенія ни ужаса смерти.

И вотъ человѣкъ находитъ въ душѣ своей чувство, которое составляетъ какъ бы ключъ, подходящій только къ этому замку. Чувство это доставляетъ ему то благо, на которое разумъ его указываетъ ему, какъ на единственное, возможное. И чувство это не только разрѣшаетъ прежнее противорѣчіе жизни, но находитъ еще въ этомъ самомъ противорѣчіи средство для своего проявленія. Животныя индивидуальности стремятся для достиженія своихъ цѣлей воспользоваться человѣческою индивидуальностью, а чувство любви заставляетъ человѣка посвящать свою индивидуальность благу другихъ.

Для людей, не проникшихъ еще во внутреній смыслъ жизни, любовь является чѣмъ-то случайнымъ, она разстраиваетъ обычный ходъ жизни, они испытываютъ нѣчто въ родѣ того, что̀ должны испытывать совы при восходѣ солнца. Эти же люди чувствуютъ,

правда, что въ состояніи любви есть нѣчто особенное, болѣе важное, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ. Но такъ какъ они не понимаютъ жизни, они не могутъ понять любви, состояніе это кажется имъ такъ же несчастно и обманчиво, какъ и всѣ остальныя.

Любить? но кого же? На время не стоитъ труда,
А вѣчно любить невозможно.

Слова эти точнымъ образомъ выражаютъ то, что люди чувствуютъ смутно, т.-е., что въ любви заключается средство противъ бѣдствій человѣческой жизни, это нѣчто похожее на истинное благо, и въ то же время сознаніе, что любовь не можетъ быть якоремъ спасенія для тѣхъ, кто не понимаетъ жизни. Любовь не можетъ имѣть предмета, достойнаго ея, и всякая любовь преходяща. Любовь, слѣдовательно, можетъ быть благомъ тогда, когда есть предметъ, который можно любить вѣчно. А такъ какъ такого предмета не существуетъ, то и любовь есть обманъ и страданіе, какъ все остальное.

И дѣйствительно, то, что люди, не понимающіе смысла жизни, называютъ любовью не есть благо, такая любовь не даетъ счастья любящему и во имя ея нерѣдко совершаются самыя страшныя преступленія.

И вотъ возникаютъ вопросы, во имя какой любви и какъ надо дѣйствовать? Во имя какой любви надо жертвовать другою любовью. Кого лю-

бить больше и кому дѣлать больше добра: женѣ или дѣтямъ, женѣ и дѣтямъ или друзьямъ своимъ? Какъ служить любимому отечеству безъ ущерба для любви къ женѣ, къ дѣтямъ? или друзьямъ? Наконецъ, какъ разрѣшить вопросъ о томъ, въ какой мѣрѣ я могу жертвовать своею индивидуальностью, необходимой для служенія другимъ? Въ какой мѣрѣ я могу заботиться о себѣ самомъ, чтобы быть въ состояніи служить тѣмъ, кого я люблю? Всѣ эти вопросы кажутся очень простыми людямъ, которые не пробовали дать себѣ отчета въ томъ чувствѣ, которое они называютъ любовью; тогда какъ они не только не просты, но совершенно неразрѣшимы.

Не безъ умысла евангельскій ученый предлагаетъ Христу этотъ вопросъ: „Кто есть ближній?“ Только иногда забывающіе дѣйствительныя условія человѣческой жизни могутъ думать, что легко отвѣтить на этотъ вопросъ. Нельзя сказать, чтобъ и гр. Толстому удалось отвѣтить на его вполнѣ точно и удовлетворительно.

Спрашивая, какой любви надо отдавать предпочтеніе, къ отечеству своему, къ друзьямъ своимъ, къ женѣ, или къ дѣтямъ, онъ замѣчаетъ только, что это все требованія любви и всѣ они тѣсно связаны между собою, такъ что, повинуясь однимъ, человѣкъ лишается возможности удовлетворить другія. Но если я допущу, что можно не одѣть зябнущаго ребенка подъ тѣмъ предлогомъ, что дѣтямъ

моимъ когда-нибудь понадобится та одежда, которой у меня просятъ, то я могу также противиться требованіямъ любви во имя моихъ будущихъ дѣтей.

Будущая любовь не существуетъ, любовь есть только дѣятельность въ настоящемъ. У человѣка не проявляющаго своей любви въ настоящемъ — нѣтъ любви.

Человѣкъ, отказавшійся отъ блага своей индивидуальности, совсѣмъ не заботится о томъ, чтобы знать, что онъ долженъ возвратить изъ того, что взялъ у другихъ людей и какимъ любимымъ существамъ отдать это. Ему нѣтъ дѣла до того, есть ли другая любовь сильнѣйшая, чѣмъ та, которая влечетъ его въ настоящее время, онъ отрекается отъ самого себя и посвящаетъ свое существованіе любви, которая доступна ему и которую онъ видитъ предъ собою. Это единственная любовь, которая можетъ *вполнѣ удовлетворить разумную природу человѣка.*

Но это очевидно не есть отвѣтъ на вопросы, поднятые графомъ Толстымъ. Допустивъ даже, что человѣческая дѣятельность должна всегда руководствоваться любовью въ настоящемъ—это нисколько не устраняетъ возможности коллизіи между любовью къ отечеству, къ родителямъ или къ дѣтямъ. Въ примѣрѣ, выбранномъ графомъ Толстымъ, стоитъ предположить только, что зябнетъ не одинъ, а два ребенка, и роковымъ образомъ является вопросъ о

выборѣ. Къ счастію такія коллизіи встрѣчаются въ жизни не особенно часто, и вообще съ точки зрѣнія практической нравственности можетъ быть лучше не касаться этого вопроса, но разъ коснувшись его, нельзя отъ него отдѣлаться замѣчаніемъ, что надо слѣдовать влеченію настоящей любви, жертвуя собою, такъ какъ это единственная любовь, которая можетъ вполнѣ удовлетворить разумную природу человѣка.

Если я изъ любви къ ближнему съ полнымъ самопожертвованіемъ и съ опасностью жизни брошусь въ рѣку доставать кошелекъ съ пятью рублями, такая любовь едва-ли будетъ удовлетворятъ требованіямъ разумной человѣческой природы. Если я изъ любви къ ближнему позволю озябшему пастуху разложить огонь возлѣ гумна и отъ этого сгоритъ не только мое гумно, но и цѣлое селеніе, и такое проявленіе любви едва-ли будетъ согласно съ разумною природой человѣка.

Можно признать во всѣхъ дѣйствіяхъ, вытекающихъ изъ любви, какъ бы они ни были неразумны, выражаясь юридическимъ языкомъ, что въ нихъ нѣтъ *вины*, потому что въ нихъ нѣтъ *злой воли*, но отсюда еще далеко до признанія всѣхъ такихъ дѣйствій вполнѣ удовлетворяющими требованіямъ разума.

На вопросъ о томъ, кто мой ближній, Христосъ отвѣчаетъ только притчей, но изъ нея едва ли

можно придти къ тѣмъ взглядамъ, которые предлагаетъ графъ Толстой. А вопросъ Христа: справедливо ли отнять хлѣбъ у дѣтей и отдать псамъ, указываетъ на то, что и съ евангельской точки зрѣнія допускается нѣкоторая постепенность въ любви, безъ которой заповѣдь любви потеряла бы практическое значеніе, такъ какъ исчезла бы возможность удовлетворить ея требованіямъ.

Отождествленіе непосредственнаго чувства любви съ требованіемъ разумнаго сознанія есть, можетъ быть, самая слабая сторона книги графа Толстого.

Взглядъ его въ нѣкоторомъ отношеніи очень близокъ къ Шопенгауэровскому, но у Шопенгауэра сущность жизни не въ разумномъ сознаніи, а въ безсознательной волѣ.

Не изъ любви къ отцу, къ сыну, къ женѣ, къ друзьямъ, къ людямъ добрымъ и любезнымъ,—говоритъ графъ Толстой,—какъ это обыкновенно думаютъ, люди отказываются отъ индивидуальности, а единственно вслѣдствіе сознанія ничтожества индивидуальнаго существованія—невозможности счастія для этого существованія, поэтому только отрекаясь отъ индивидуальной жизни, человѣкъ достигаетъ познанія истинной любви и можетъ истинно любить отца своего, жену, дѣтей и друзей.

Нѣтъ другой любви, кромѣ той, которая состоитъ въ томъ, чтобъ отдавать жизнь свою ради тѣхъ кого любишь.

Любовь достойна этого имени только тогда, когда она состоитъ въ пожертвованіи собой. Когда человѣкъ даетъ другому не только время и силы, но жертвуетъ своимъ тѣломъ, жизнью своею для любимаго предмета, тогда только всѣ мы признаемъ, что это любовь единственная,—любовь, которая можетъ всѣмъ намъ доставить благо—награду любви. И только потому и можетъ держаться міръ, что такая любовь существуетъ въ сердцѣ людей.

Нельзя не пожалѣть, что, говоря о любви, графъ Толстой недостаточно различаетъ ея виды: любовь къ дѣтямъ, любовь къ отечеству, любовь къ ближнему, любовь къ истинѣ—вещи весьма различныя (я не говорю о тѣхъ формахъ любви, которыя не заслуживаютъ этого имени, по крайней мѣрѣ съ точки зрѣнія графа Толстого).

Графъ Толстой обходитъ также, какъ будто намѣренно, вопросъ объ объективной сторонѣ любви.

Если бы люди были богами,—замѣчаетъ онъ,— только тогда они могли бы любить однихъ избранныхъ людей. Только тогда актъ предпочтенія однихъ предъ другими могъ бы быть настоящею любовью. Но люди не боги и находятся въ такихъ условіяхъ существованія, гдѣ всѣ живущіе живутъ только на счетъ другихъ, другъ друга пожираютъ и въ точномъ и въ переносномъ смыслѣ, и человѣкъ, какъ разумное существо, долженъ знать, что всякое матеріальное благо достигается только въ

ущербъ другому существу. Это несовсѣмъ точно, хоть и справедливо въ большинствѣ случаевъ; человѣкъ, который искусственно орошаетъ пустыню и, обрабатывая почву, пользуется плодами, едва-ли приноситъ этимъ вредъ кому бы то ни было. Не нужно быть богомъ для того, чтобы знать кого любить больше: Христа или Варраву, евангельская заповѣдь требуетъ любви и благотворенія всѣмъ людямъ, но не того, чтобы любовь эта была одинакова для всѣхъ, такое требованіе было бы невыполнимо.

Дѣятельность людей, говоритъ гр. Толстой, не понимающихъ жизни, направлена въ теченіе всего ихъ существованія на борьбу за это существованіе, на достиженіе наслажденій и избѣжаніе страданій, на удаленіе отъ себя смерти, которой избѣгнуть они не могутъ. Но усиленіе наслажденій еще болѣе усиливаетъ ожесточеніе борьбы, способность чувствовать страданія и приближаетъ къ смерти. Чтобы скрыть отъ себя приближеніе смерти, есть только одно средство: еще усилить наслажденіе. Но усиленіе наслажденій достигаетъ послѣдней границы; наслажденія, которыя уже не могутъ быть увеличены, превращаются въ страданія, и остается только способность ощущать живѣе и эти страданія и приближеніе смерти.

Люди, не понимающіе истинной жизни, пугаются смерти, которая въ дѣйствительности не существуетъ.

„Нѣтъ смерти, говоритъ людямъ голосъ истины, Я воскресеніе и жизнь, вѣрующій въ Меня хотя бы и умеръ, будетъ жить, кто вѣритъ въ Меня—не умретъ. Вѣришь ли ты этому?“

Нѣтъ смерти, говорятъ всѣ великіе мудрецы міра, и то же говорятъ и подтверждаютъ жизнью своею милліоны людей, понявшіе смыслъ жизни. То же самое чувствуетъ въ душѣ своей каждый живой человѣкъ въ свѣтлыя минуты сознанія. Но люди, не понимающіе жизни, не могутъ не бояться смерти; какъ нѣтъ смерти? говорятъ они, это софизмъ, она предъ нами, она скосила милліоны людей и скоситъ насъ также. И они видятъ то, о чемъ говорятъ, какъ сумасшедшій видитъ тотъ призракъ, который пугаетъ его. Онъ не можетъ дотронуться до этого призрака, который никогда не касался его, ничего не знаетъ о его намѣреніяхъ. но до такой степени боится и страдаетъ отъ этого мнимаго видѣнія, что лишенъ возможности жить. Не то ли же и со смертью?

Человѣкъ не знаетъ своей смерти и не можетъ ее знать; она никогда не прикасалась къ нему и онъ не знаетъ чего она хочетъ. Чего же онъ боится?

Она до сихъ поръ никогда не хватала меня, но когда-нибудь схватитъ и уничтожитъ, я въ этомъ увѣренъ. Это ужасно, говорятъ люди, не понимающіе жизни. Еслибы люди, имѣющіе это ложное представленіе о жизни, были способны разсуждать

спокойно и толково, они должны бы понять, основываясь на ихъ собственномъ пониманіи жизни, что нѣтъ ничего непріятнаго, ни ужаснаго въ мысли, что ихъ тѣлесное существованіе подвергнется тому же измѣненію, которое безпрестанно совершается предъ нами и которое мы называемъ смертью.

Я умру, что́ же въ этомъ ужаснаго? Сколько измѣненій совершилось и совершается въ моемъ тѣлесномъ существованіи, не вызывая во мнѣ страха. Мнѣ постоянно приходится дѣлать разсчеты и предположенія, основанные на смерти другихъ людей,— что̀ же въ этомъ ужаснаго?

Есть только два строго логическіе способа разсматривать жизненныя явленія; одинъ основанъ на приравниваніи жизни къ видимымъ явленіямъ, совершающимся въ нашемъ тѣлѣ, съ минуты рожденія до смерти, другой основанъ на отождествленіи жизни съ невидимымъ внутреннимъ сознаніемъ ея.

Одна изъ этихъ точекъ зрѣнія ошибочна, другая вѣрна, но обѣ онѣ могутъ быть точками отправленія логическихъ разсужденій о явленіяхъ жизни, и люди могутъ допустить ту изъ нихъ, которая имъ кажется подходящею. Та и другая исключаетъ ужасъ смерти.

Чтобъ уяснить себѣ отношеніе графа Толстого къ вопросу о будущей жизни, о безсмертіи, необходимо остановиться на его понятіи о человѣческой сущности.

Во всякій моментъ моей жизни,—говоритъ графъ Толстой,—когда бы я ни спросилъ себя, что́ я такое, я отвѣчу: нѣчто чувствующее и мыслящее, то-есть нѣчто имѣющее особое свойственное ему отношеніе къ міру. Только это я признаю за свое *Я*, и ничего больше. Что касается того, когда и гдѣ я родился, когда и гдѣ я началъ чувствовать и мыслить, какъ чувствую и мыслю теперь, то относительно этого сознаніе мое ничего мнѣ не говоритъ; оно говоритъ только: я существую и нахожусь въ связи съ міромъ, гдѣ я теперь.

Очевидно это не что̀ иное какъ опредѣленіе Декарта, субъекта какъ вещи мыслящей (такъ какъ съ точки зрѣнія Декарта чувства содержатся въ мышленіи). Но при дальнѣйшемъ разсмотрѣніи субъекта сознанія, графъ Толстой нѣсколько отступаетъ отъ этого опредѣленія, или по крайней мѣрѣ освѣщаетъ преимущественно такую сторону субъекта, которой въ помянутомъ опредѣленіи не содержится. „Какой же принципъ связываетъ всѣ послѣдовательные моменты сознанія во времени?“ спрашиваетъ онъ. Съ точки зрѣнія Декарта вопросъ этотъ не имѣетъ значенія, такъ какъ для него сознаніе безусловно непрерывно и прекращеніе сознанія было бы равносильно исчезновенію сознающаго. Обычныя указанія на перерывы въ сознаніи во время обмороковъ или глубокаго сна, разумѣется, ничего не доказываютъ, такъ какъ изъ нихъ слѣдуетъ только

отсутствіе *воспоминаній* о какой бы то ни было психической дѣятельности, что̀ совсѣмъ еще не доказываетъ ея дѣйствительнаго прекращенія за этотъ промежутокъ времени. Чтобъ убѣдиться, что связь между сознаніемъ и памятью вовсе не такъ тѣсна, какъ это думаютъ обыкновенно, сто̀итъ припомнить состояніе сомнамбулизма, когда сомнамбулы не только думаютъ, но дѣйствуютъ, и по пробужденіи не сохраняютъ ни малѣйшаго воспоминанія о своей дѣятельности. Все, что можно непосредственно заключить изъ отсутствія воспоминаній о промежуткахъ времени въ теченіе глубокаго сна или обморока, это то, что бываютъ промежутки времени, въ теченіе которыхъ мы не знаемъ сохраняется ли сознаніе, или нѣтъ. Графъ Толстой дѣлаетъ нѣсколько поспѣшное заключеніе отъ непроявленія сознанія къ его временному перерыву, но разъ такое заключеніе допущено, необходимо, разумѣется, искать уже внѣ сознательнаго мышленія начало, объединяющее его послѣдовательные моменты. Что же такое это существенное и особенное *Я*, которое не содержится въ существованіи моего тѣла и серіи проявляющихся въ немъ сознаній, это главное *Я*, на которое нанизываются сознанія слѣдующія другъ за другомъ во времени? спрашиваетъ графъ Толстой. Вопросъ этотъ кажется очень теменъ и очень трудно разрѣшимъ и нѣтъ, однако, ребенка, который не былъ бы въ состояніи отвѣтить на него и не дѣлалъ бы

этого двадцать разъ въ день. „Я люблю это и не люблю того“.

Слова эти очень просты, но ими разрѣшается вопросъ о томъ, что такое это особое *Я*, связующее моменты сознанія. Это *Я*, которое любитъ одно и не любитъ другого.

Какъ ни просто повидимо такое опредѣленіе, оказывается, что въ сущности оно сводится къ тому, что Шопенгауэръ называетъ умопостигаемымъ характеромъ—въ отличіе отъ того, что̀ обыкновенно называется этимъ именемъ и есть по его терминологіи характеръ эмпирическій.

Только въ способности любить болѣе или менѣе одну вещь и не любить другой и состоитъ особое и существенное *Я* человѣка, то *Я*, около котораго группируются всѣ разсѣянныя и отрывочныя сознанія. И эта способность любить одно болѣе другого хотя и развивается въ теченіе нашей жизни, но не начинается съ нея, а получена нами въ этой жизни уже сформированною невидимымъ и неизвѣстнымъ прошедшимъ.

Эта особая склонность человѣка любить болѣе или менѣе одно и не любить другого, обыкновенно называется характеромъ.

Шопенгауэръ, признающій время только формой представленія, указываетъ однако на теорію переселенія душъ, но такъ какъ для него всякое представленіе есть только случайное явленіе, связан-

ное съ организмомъ, то перевоплощаться можетъ одна воля (которая и есть сущность всего живущаго), а не случайно связанный съ ней разумъ и разсудокъ, этимъ и отличается его теорія палингенезиса отъ метампсихозы.

Чтò для отдѣльнаго человѣка сонъ, то для воли, какъ вещи о себѣ, смерть, говоритъ Шопенгауэръ, она не выдержала бы безконечнаго продолженіе тѣхъ же безполезныхъ хлопотъ и страданій, еслибъ у нея оставалось воспоминаніе индивидуальности. Она сбрасываетъ это воспоминаніе въ Лету и выступаетъ снова освѣженная смертнымъ сномъ и снабженная другимъ интеллектомъ.

И новый день влечетъ насъ къ новымъ берегамъ!

Братъ мой умеръ, говоритъ графъ Толстой, вчера или тысячу лѣтъ назадъ и та же жизненная сила, которая дѣйствовала въ теченіе его тѣлеснаго существованія, продолжаетъ дѣйствовать еще сильнѣе на меня и на тысячи милліоновъ людей, хотя видимый для нихъ центръ этой силы, его тѣлеснаго существованія во времени и скрылся изъ моихъ глазъ. Что же это значитъ? Я видѣлъ свѣтъ сухой травы, горѣвшей предо мной, трава погасла, но зарево только увеличилось, я не вижу причинъ этого свѣта, не знаю, чтò горитъ; но могу заключить, что огонь, зажегшій эту траву, пожираетъ теперь отдаленный лѣсъ или вообще что-нибудь, такъ что я его не вижу.

Я не знаю гдѣ теперь этотъ прежде видимый для меня центръ, я могу попробовать, если не боюсь заблудиться представить себѣ это. Но когда я хочу имѣть раціональное представленіе о жизни, я довольствуюсь тѣмъ, что́ ясно и несомнѣнно, и не стараюсь испортить это ясное и несомнѣнное примѣсью темныхъ и произвольныхъ догадокъ. Для меня достаточно знать, что все, что̀ даетъ мнѣ жизнь, составляется изъ жизни всѣхъ людей, жившихъ до меня и давно умершихъ, и слѣдовательно человѣкъ, совершающій законъ жизни, подчиняя свою животную индивидуальность разуму и примѣняя силу своей любви, жилъ и живетъ въ другихъ людяхъ по прекращеніи своего человѣческаго существованія, для меня достаточно знать это, говоритъ графъ Толстой, для того, чтобы нелѣпый и ужасный предразсудокъ смерти навсегда пересталъ меня мучить.

Но такого рода безсмертіе, зависящее не отъ неразрушимости самой сущности живущаго, а отъ болѣе ими менѣе разумнаго выполненія имъ жизненнаго закона, одинаково далеко и отъ Картезіанской и отъ Шопенгауэровской точки зрѣнія, оно скорѣе напоминаетъ Спинозу, который допускаетъ, что та часть нашей души, которая остается, какая бы часть эта ни была, есть болѣе совершенная, такъ какъ вѣчное въ душѣ есть интеллектъ.

Послѣднія главы своей книги гр. Толстой посвящаетъ вопросу о значеніи страданій въ чело-

вѣческой жизни. Страданіе существуетъ, физическое страданіе. Къ чему оно? спрашиваютъ люди. Къ чему? Къ вашему благу, для того, чтобы вы могли жить; безъ этого жить невозможно—могъ бы отвѣтить тотъ, кто захотѣлъ, чтобъ мы страдали, тотъ, кто сдѣлалъ страданіе по возможности выносимымъ, тотъ, кто устроилъ наоборотъ такъ, что изъ этого страданія вытекаетъ возможно большее благо. Физическое страданіе предохраняетъ нашу животную индивидуальность, и до тѣхъ поръ, пока страданіе служитъ для предохраненія индивидуальности, какъ у ребенка, оно не можетъ быть ужасною пыткой, которая намъ дѣлается знакома, когда наше разумное сознаніе достигаетъ полной силы и, сопротивляясь страданію, мы признаемъ его чѣмъ то такимъ, чего не должно быть.

Если бы боги создали людей безъ способности чувствовать страданіе, люди не замедлили бы потребовать его; безъ страданія при родахъ рожденіе происходило бы въ такихъ условіяхъ, что очень немногіе изъ дѣтей остались бы въ живыхъ; безъ способности чувствовать страданіе, дѣти и юноши уродовали бы свое тѣло, люди взрослые не знали бы ни заблужденій другихъ людей въ прошедшемъ и настоящемъ, ни, и это главное, своихъ собственныхъ заблужденій, — они не знали бы, что̀ имъ дѣлать въ этой жизни, ихъ дѣятельность не имѣла бы раціональной цѣли, они никогда не могли бы

привыкнуть къ мысли о тѣлесной смерти и не могли бы любить.

Для человѣка, который жизнь свою поставляетъ въ подчиненіи своей индивидуальности закону разума, страданіе не только не есть зло, но это необходимое условіе его животной жизни, такъ же, какъ и жизни разумной. Если бы страданіе не существовало, животная индивидуальность не знала бы о нарушеніи своего закона; если бы сознаніе разумное не испытывало страданія, человѣкъ никогда не зналъ бы истины и закона собственнаго существа.

Нельзя признать взглядъ гр. Толстого на страданіе вполнѣ философическимъ. Если во многихъ случаяхъ физическая боль дѣйствительно предупреждаетъ о грозящей организму опасности, то къ чему она, когда опасность эта совершенно неизбѣжна, какъ въ неизлѣчимыхъ болѣзняхъ. Если страданіе и физическую боль совсѣмъ нельзя считать зломъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ теряетъ смыслъ и нравственная обязанность по мѣрѣ силъ избавлять отъ нихъ ближняго. Разумное объясненіе предписаніе это можетъ имѣть только тогда, когда страданіе признается зломъ, неизбѣжность котораго слѣдуетъ признавать въ нѣкоторыхъ случаяхъ и подчиняться ей, чтобы не усиливать страданія самымъ сопротивленіемъ неизбѣжному.

При допущеніи реальной множественности индивидуумовъ страданіе является логически необходи-

мымъ каждый разъ, какъ между стремленіями этихъ индивидуумовъ оказывается противорѣчіе.

Графъ Толстой не касается этой стороны вопроса, но и не углубляясь въ метафизическія соображенія, не трудно видѣть, что если жизнь наша не есть результатъ слѣпой случайности или голодной безсознательной воли, то страданіе индивидуумовъ не можетъ имѣть цѣлью поддержанія этой жизни, все равно въ себѣ ли самомъ или въ себѣ подобныхъ.

И физическая боль и нравственныя страданія могутъ имѣть разумное объясненіе только въ томъ, что они, какъ и вся наша жизнь, составляютъ необходимое звено для достиженія другой положительной цѣли.

Такъ думаетъ повидимому и самъ гр. Л. Н. Толстой, хотя не всегда выражаетъ эту мысль съ одинаковою ясностью.

Вѣра въ безсмертіе, говоритъ онъ, не можетъ быть воспринята кѣмъ бы то ни было; нельзя себя самого убѣдить въ безсмертіи для того, чтобы вѣра эта существовала,—нужно безсмертіе, а для того, чтобы существовало безсмертіе, нужно пониманіе того, что̀ дѣлаетъ нашу жизнь безсмертною. Для того, чтобы вѣрить въ будущую жизнь, необходимо выполнить свою жизненную задачу и въ этой жизни установить новое отношеніе къ тому міру, который уже не вмѣщается въ этомъ.

О НЕПРОТИВЛЕНІИ ЗЛУ.

Принципъ непротивленія злу составляетъ одно изъ основныхъ положеній нравственной философіи гр. Толстого и въ своихъ произведеніяхъ онъ не разъ возвращается къ его выясненію и доказательству.

Остановимся теперь на его „трехъ притчахъ“, посвященныхъ этому вопросу, гдѣ онъ старается убѣдить читателей что то почти всеобщее несочувствіе которымъ была встрѣчена эта сторона его ученія основано на недоразумѣніи.

Если даже нѣкоторые изъ тѣхъ, кто сначала сочувственно встрѣтили новое направленіе дѣятельности великаго писателя, измѣнили теперь свой образъ мыслей, то, конечно, не потому чтобъ они относились къ его ученію или „напоминаніямъ“ съ предвзятою мыслью, какъ онъ это пытается доказать.

Сила вещей все болѣе и болѣе обнаруживаетъ внутреннее противорѣчіе, которое содержится въ этомъ ученіи.

Непротивленіе злу, или, точнѣе, злому, можетъ дѣйствительно составлять требованіе высшей нравственности; но только тогда, когда непротивляющимся является то самое лицо, противъ котораго это зло направлено.

Непротивленіе же тому злу, которое при мнѣ причиняютъ другому, когда я имѣю возможность помѣшать этому, не только не есть требованіе нравственности, но, наоборотъ, прямо противорѣчитъ ей.

Вотъ почему такое ученіе не можетъ привлечь къ себѣ ни людей религіозныхъ, ни атеистовъ, ни консерваторовъ, ни либераловъ, ни людей порядка, ни анархистовъ; каковы бы ни были религіозныя, нравственныя или политическія убѣжденія человѣка, онъ не можетъ не стараться содѣйствовать тому, что̀ *для него* является благомъ и не бороться съ тѣмъ, что̀ ему кажется зломъ. Этого не отрицаетъ, впрочемъ, и гр. Толстой, и даже жалуется, что его умышленно не поняли въ этомъ отношеніи.

„Я говорилъ“, замѣчаетъ онъ, „что, по ученію Христа, зло не можетъ быть искоренено зломъ, что всякое противленіе злу насиліемъ только увеличиваетъ зло, что, по ученію Христа, зло искореняется добромъ; „благословите проклинающихъ васъ, молитесь „за обижающихъ васъ, любите враговъ вашихъ и

„не будетъ у васъ врага“. Я говорилъ, что по ученію Христа вся жизнь человѣка есть борьба со зломъ, противленіе злу разумомъ и любовью; но что изъ всѣхъ средствъ противленія злу Христосъ исключилъ одно неразумное средство; противленіе злу насиліемъ, состоящее въ томъ, чтобы бороться со зломъ зломъ же.

„И эти слова мои были поняты такъ, что я говорю будто Христосъ училъ тому, что не надо противиться злу. И всѣ тѣ, чья жизнь построена на насиліи и кому, поэтому, дорого насиліе, охотно приняли такое перетолкованіе моихъ словъ и вмѣстѣ съ симъ и словъ Христа, и было признано, что ученіе о непротивленіи злу есть ученіе невѣрное, нелѣпое, безбожное и зловредное, и люди спокойно продолжаютъ, подъ видомъ уничтоженія зла, производить и увеличивать его“.

Поправка или дополненіе, состоящее въ замѣнѣ выраженія „непротивленіе злу“ — „непротивленіемъ злу *насиліемъ*“, довольно существенна; но ея недостаточно, чтобъ устранить уже приведенное возраженіе, равно какъ и многія другія.

Во-первыхъ, слово „насиліе“ выбрано неточно или невѣрно, такъ какъ едвали кто-нибудь серьезно предлагалъ *насиліе*, какъ средство борьбы со зломъ. Между насиліемъ и силой есть существенное различіе и, употребляя первое слово вмѣсто второго,

графъ Толстой даетъ характеристическій образчикъ того, что называется petio principii.

Если я вырву у человѣка принадлежащую ему вещь, или вытолкаю его изъ его квартиры, я несомнѣнно совершаю насиліе; но неужели будетъ такимъ же насиліемъ съ моей стороны, если я не дамъ ему вырвать моего бумажника, или помѣшаю ему ворваться въ мою квартиру?

Такого рода пониманіе термина *насиліе* было бы невѣрно не только съ точки зрѣнія юридической, но и съ точки зрѣнія общепринятаго употребленія словъ.

Насиліе всегда предполагаетъ нарушеніе правъ того, надъ кѣмъ оно совершается, и потому, разумѣется, оно само по себѣ есть уже зло; но никакъ нельзя сказать того же объ употребленіи силы, когда имъ предупреждается нарушеніе права, или возстановляется право уже нарушенное. Употребленіе силы само по себѣ не есть ни благо, ни зло и становится тѣмъ или другимъ лишь въ зависимости отъ цѣли, къ которой оно направлено.

Итакъ, прежде чѣмъ упрекать читателей или критику въ умышленномъ непониманіи его мысли, графу Толстому слѣдовало бы точнѣе опредѣлить что̀ онъ разумѣетъ подъ словомъ насиліе, и отождествляетъ ли онъ съ нимъ какое бы то ни было употребленіе силы, хотя бы для того, чтобы помѣшать преступленію или насилію.

Конечно, самый высшій и нравственный способъ бороться со зломъ состоитъ въ борьбѣ посредствомъ любви и убѣжденія, но способъ этотъ не всегда возможенъ не только для современнаго, несовершеннаго человѣчества, но даже и для исключительныхъ личностей, стоящихъ на самыхъ высшихъ ступеняхъ нравственнаго развитія.

Бываютъ случаи, когда, прежде чѣмъ бороться со злобой посредствомъ любви, надо помѣщать ближайшимъ проявленіямъ этой злобы и совершенію того зла, въ которомъ совершившій его и самъ будетъ впослѣдствіи раскаиваться. Употребленіе силы въ такихъ случаяхъ не только не противорѣчитъ любви къ ближнему, но, наоборотъ, прямо вытекаетъ изъ нея, ибо одинаково согласно съ благомъ, какъ того, кому можетъ быть причинено зло, такъ и того, кто можетъ его причинить.

Если употребленіе силы ни въ какомъ случаѣ непозволительно, потому, что прибавляетъ будто бы новое зло къ тому, которое уже существуетъ, то спрашивается: кому я причиню зло, если вырву ножъ изъ рукъ разсвирѣпѣвшаго человѣка, который готовъ убить имъ другого и самъ потомъ страдалъ бы и раскаивался въ своемъ злодѣяніи?

Если возможно еще, хотя съ большими натяжками, возставать противъ уголовной репрессіи, утверждая, что она не достигаетъ своей цѣли и увеличиваетъ сумму зла, присоединяя къ страданьямъ потерпѣвшаго

страданія преступника, то здравый смыслъ не допускаетъ возможности сомнѣнія въ пользѣ и въ нравственномъ значеніи предупрежденія, ограждающаго отъ зла какъ покушающагося на преступленіе, такъ и его возможную жертву.

Притча графа Толстого совершенно не передаетъ дѣйствительнаго положенія вещей; сравненіе его было бы вѣрно только въ томъ случаѣ, еслибъ онъ указалъ простой или, по крайней мѣрѣ, возможный способъ окончательнаго искорененія зла въ человѣческой природѣ.

Но вотъ въ двухъ словахъ самая притча.

„Выросла сорная трава на хорошемъ лугу. И чтобъ избавиться отъ нея, владѣльцы луга скашивали ее, а сорная трава отъ этого только умножалась“. И вотъ добрый хозяинъ, посѣтившій ихъ, сказалъ имъ, что надо не косить траву, а вырвать ее съ корнемъ; но владѣльцы его не послушались, какъ не послушались и другихъ напоминавшихъ имъ впослѣдствіи объ этомъ совѣтѣ; а въ послѣднее время, когда въ лугѣ остались уже однѣ сорныя травы, пришелъ еще одинъ человѣкъ и сталъ напоминать имъ совѣтъ добраго хозяина; но люди „называли его зловреднымъ человѣкомъ, желающимъ развести дурную траву и лишить людей ихъ луга“. Онъ говоритъ, что не надо косить траву, а если мы не будемъ уничтожать траву, говорили они, нарочно умалчивая о томъ, что человѣкъ говорилъ

не о томъ, что не надо уничтожать сорную траву, а о томъ, что надо не косить, а вырывать ее, что сорная трава разростается и уже совсѣмъ погубитъ нашъ лугъ“.

Сорная трава, которую слѣдуетъ не косить, а вырывать съ корнемъ, е́сть зло; человѣкъ, котораго не поняли люди, умышленно искажая его мысль,— самъ гр. Толстой. Но ясно, что въ притчѣ легче было дать совѣтъ, нежели его выполнить; въ самомъ дѣлѣ, еслибы легко было избавиться отъ сорной травы, то люди, вѣроятно, тотчасъ послѣдовали бы совѣту добраго хозяина, не дожидаясь напоминаній, но если корни сорной травы разрослись уже такъ глубоко, что люди не могли или не умѣли вырвать ихъ, то недостаточно было напоминать имъ о совѣтѣ добраго хозяина, котораго они не могли исполнить, а надо было бы указать на средства, или дать имъ орудіе, съ помощью, котораго они могли бы сдѣлать это; а при данныхъ условіяхъ не трудно обратить притчу противъ самого автора.

Въ самомъ дѣлѣ, если нельзя вырвать съ корнемъ всѣ вредныя травы, или перепахать лугъ, такъ чтобы всѣ онѣ погибли, то лучше косить ихъ, чѣмъ ничего не дѣлать и давать имъ созрѣть, такъ чтобы сѣмена ихъ разносились вѣтромъ и портили и сосѣдніе луга.

Есть еще одинъ пробѣлъ въ ученіи гр. Толстого о непротивленіи злу, — пробѣлъ, который

лишаетъ это ученіе всякой убѣдительности. Это — отсутствіе яснаго опредѣленія зла. Не только въ дѣйствительной жизни, но и въ отдѣльныхъ отрасляхъ знанія нѣтъ необходимости касаться общаго вопроса объ отношеніи блага и зла. Съ точки зрѣнія медицинской зло есть болѣзнь, съ точки зрѣнія права — нарушеніе закона, съ точки зрѣнія экономической — бѣдность, но это только зло относительное, и такими же относительными благами являются законность, здоровье или богатство.

Но всѣ эти различныя точки зрѣнія можно различать только въ теоріи, на практикѣ же онѣ переплетаются между собой, потому что одно и то же дѣйствіе вызываетъ различныя послѣдствія въ различныхъ сферахъ человѣческой жизни, и тому, кто хочетъ дѣйствовать сознательно, не разъ приходится задуматься, какъ въ сказкѣ молодцу, которому приходилось выбирать между разными опасностями на разныхъ дорогахъ; но для него выборъ былъ простъ; другое дѣло когда приходится взвѣшивать болѣе сложные мотивы частной или общественной дѣятельности.

Гр. Толстой полагаетъ, повидимому, что въ области нравственной невозможны столкновенія различныхъ обязанностей и потому нѣтъ мѣста ни для какихъ колебаній. „Не дѣлайте зла, и зла не будетъ“. Но дѣло далеко не такъ просто, потому что непротивленіе злу равносильно его допущенію.

Конечно, мы несемъ нравственную отвѣтственность за послѣдствія своихъ поступковъ лишь въ той мѣрѣ, въ какой можемъ предвидѣть эти послѣдствія, но напрасно было бы отговариваться тѣмъ, что мы не могли предвидѣть того, что̀ случится и лишь потому не помѣшали преступленію, совершившемуся у насъ на глазахъ, когда мы имѣли и время, и возможность это сдѣлать; такая отговорка не оправдаетъ насъ не только передъ собственною совѣстью, но даже передъ формальнымъ судомъ.

Того, кто видитъ беззащитнаго человѣка, на котораго нападаютъ разбойники, и кто, не имѣя возможности помочь ему иначе, выстрѣлитъ и ранитъ, или даже убьетъ одного изъ нападающихъ, конечно, совѣсть будетъ мучить меньше, чѣмъ того, кто пройдетъ мимо совсѣмъ безучастно.

Въ частной жизни, къ счастію, рѣдко встрѣчаются случаи, гдѣ выступала бы въ такой рѣзкой формѣ необходимость противленія злу крайними средствами; другое дѣло въ общественной и государственной дѣятельности.

Принципъ любви и жалости, составляющій глубочайшій источникъ *личной* нравственности, не можетъ сдѣлаться исключительнымъ основаніемъ государственнаго управленія и правосудія, потому что онъ легко переходитъ въ то чувство, которое А. Ѳ. Кони мѣтко охарактеризовалъ названіемъ „жестокой чувствительности“.

Такая чувствительность, не всегда соотвѣтствующая истиннымъ интересамъ самихъ преступниковъ, оказывается, дѣйствительно, жестокою по отношенію къ потерпѣвшимъ и ко всѣмъ тѣмъ, кто легко можетъ сдѣлаться ими.



Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ типогр. М. М. Стасюлевича.
Спб. Вас. Остр., 5 л., 28.



